



Дизайн автора

Я оправдываю себя? Нет, я просто рассказываю. Каждый человек имеет право воображать, что где-то у него есть неведомый ему, но искренне любящий его друг, так вот я рассказываю для этого друга так, как умею и могу.

Федор Шаляпин

Того, что мне было дано от боевого духа и твердости воли, хватило, собственно, только на искусство.

Бруно Вальтер

## 1

— Надо иметь мужество играть, как написано! — ору я им на репетиции, не стесняясь, что цитирую Тосканини. И все-таки этой красивой фразой я призываю скорее к дисциплине, чем к музыке. У каждого из нас музыка своя. Но делаем ее мы вместе: мы пилим, строгаем, выдуваем и выколачиваем, мы стряхиваем с каждой нотной страницы пыльцу музыки, и она плывет меж нами, вызывая не всегда понятные нам самим чувства. При том у нас постные помятые физиономии, мы делаем вид, что нам все до смерти обрыдло, — это наша ритуальная маска. Иногда мы впадаем в экстаз и потом еще некоторое время поголовно убеждены, что не зря живем на свете, — и любим друг друга. Но мы простые смертные, и нам долго не продержаться в разреженной высоте вечности.

Однажды после концерта — я провалил «Пасторальную» Бетховена — я встал на лыжи и ушел на залив в темноту. Шел долго, не помня себя. А когда повернул назад — в лицо с суши впился ледяной ветер. Я чуть не околел, пока добрался до берега. Тогда и придумал себе кончину — на лыжах, наглотавшись снотворного. Лечь и уснуть на снегу...

А сегодня у меня праздник. Лежу в темной комнате, разглядывая на стене полосатый квадрат окна. Почему прозрачное ровное стекло дает полосатую тень? И на душе у меня ровно, чисто, благостно, как после свидания с тобой, дорогая.

Вместе с Пашкой мы выдали два гениальных отделения: гениальных, по крайней мере, с точки зрения друзей. Про себя-то мы точно знаем, что на сей момент лучше бы не смогли. Он только что позвонил, и мы еще умиленно помолчали в трубку, два размагниченных дураля. И оба мы думали о том, кто каким-то чудом был сегодня с нами, — о Сергее Васильевиче Рахманинове, целомудреннейшем из музыкантов.

На этой неделе у меня две удачи — этот концерт и выступление на семинаре. На короткое время нити судьбы снова в моих руках — я это чувствую даже по тому, как со мной здороваются и кто мне звонит. Кажется, никому нет до тебя дела, но стоит хотя бы на вершок вырваться вперед, как всем это видно, всех это, так сказать, задевает, хотя, с другой стороны, всем на это трижды наплевать.

Когда все мы, командиры искусства, собираемся вместе, на это, дорогая, стоит посмотреть. Втайне каждому из нас очень нравится этот смотр, хотя и ворчим, что день на выброс. Но собираемся и будем собираться — во-первых, убедиться, что у соседа ничуть не лучше; во-

вторых, действительно надо что-то делать; а в-третьих — как это так, без нас? Свято место пусто не бывает. Главное, чтобы помнили и не забывали. Это как evening-party в консульстве — можно и не пойти, но приглашение должно быть в кармане.

Считается, что слава людей портит. Как знать... Одна умная женщина заметила — у каждого из нас гораздо больше достоинств, чем это принято думать, но обнаружить их позволяет только успех. Удачливые — они более раскованны, более свободны, им не страшно показаться смешными, их непросто сбить с толку — что бы они ни делали, слава работает на них, и надо наделать каких-то невероятных глупостей, чтобы она отвернулась.

К семинару я готовился, пожалуй, дольше, чем к Рахманинову, — я должен был выступить с содокладом. Десять минут, пять машинописных страниц, тысяча триста пятьдесят слов, три-четыре мысли. С трибуны я говорить не умею, логики у меня никакой, леплю первое, что приходит на ум, — это хорошо со своими, которым чем позабористей, тем понятней, а тут все-таки не оркестр, все жутко строгие, юмор не в чести.

Мыслей у меня было даже не три-четыре, а, дай бог, полторы, ну, может, две. Одна — куда мы катимся? Вторая — дальше так нельзя! Вот и все, но шум получился большой — все вдруг полезли выступать, даже без бумажки, эти оказались самыми красноречивыми, и умудренная опытом по руководству искусством и культурой хозяйка наша сначала нетерпимо окаменела и стала белой, а затем обмякла, раскраснелась, принялась поддакивать и кивать головой, так что уязвимый для ее начальственного самолюбия момент переключения стрелки прошел почти незаметно. И все-таки по долгу службы она отыгралась на мне, на моих тезисах. Но мне было до фонаря — камень брошен, и круги пошли. Только и стало понятно, что у всех накипело.

Короче, мы защищали свое право решать, какой должна быть художественная политика. Достаточно ли мы для этого зрелы? — был поставлен в полемике вопрос. — Если нет, зачем нас назначили? — крикнул кто-то. — А назначили, не держите за руку! Мы не дети! — пророкотал главреж одного вполне приличного театра. В общем, договорились любить и уважать друг друга, больше доверять, коль скоро все мы заодно и цель у нас тоже одна — воспитывать чувства людей.

О воспитании я и говорил. Когда-то нам казалось, говорил я, что, когда мы, то есть мое поколение, вырастем, все станет хорошо. Потому что мы были очень хорошие, знали правду, любили то, что надо любить, и ненавидели то, что надо ненавидеть, верили, понимали и рвались вперед. Но вот нам по сорок, и оказалось, что все не так просто. И те, кому сегодня столько же, сколько было нам двадцать лет назад, почему-то не идут за нами следом, мы им не нравимся, мы им скучны, нас не слушают и не уважают. Они равнодушны к тому, что любили мы. Тут я попытался переключиться на музыку, поскольку о делах в других подразделениях искусства более компетентно выскажутся находящиеся здесь специалисты, многие из которых, впрочем, мои товарищи. «По несчастью!» — крикнул кто-то. «По несчастью», — повторил я, как попка, взял стакан и выпил минеральной воды, «Товарищ» оказал мне медвежью услугу, потому что если это несчастье, так с кого же спрос, как не с вас, дорогие деятели искусства и культуры: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». И все-таки чем объяснить, что почти на любое, даже мало приличное эстрадное шоу спортивный комплекс на краю города собирает двенадцать тысяч зрителей, а в Малом зале филармонии половина пустых мест, и это в центре, рядом со станцией метро, вестибюль которой набит томящимся от безделья молодым поколением? Почему терпит крах система музыкального образования в средней школе, почему в технических вузах наших нет гуманитарных факультативов? Кто и когда решил, что можно обойтись без знания литературы, музыки, живописи? Как можно стать хорошим инженером, руководителем производства, не прочтя «Божественную комедию», не услышав «Божественной симфонии»? — я имел в виду Третью симфонию Скрябина, названную «Poeme Divin». Только искусство будит высокое чувство и воображение. Как можно руководить без воображения?

— Вот с себя и спросите!

— Спросил. И вот что скажу: надо что-то делать с престижностью не только рабочих профессий, но и профессий писателя, художника, музыканта. Социологи говорят, что нынешний десятиклассник мечтает стать барменом. Эта переоценка ценностей произошла на наших глазах, а

сданные искусством позиции заняла псевдокультура, подделки приспособленцев. Так я подъехал к практике руководства, которая вполне устраивает ремесленника, потому что тот работает по принципу «чего угодно?», и которая мешает художнику, потому что у него заказчиком само время, а не временный начальник. Художник — это категория нравственная, он загорается только от правды, его вдохновитель истина, а не звонок сверху.

— Вы обещали нам о музыке.

— Я только о ней и говорю. Кто это решил, что можно воспитывать лозунгами, даже трижды правильными? Воспитывают только пережитые чувства, да и то если они пережиты в определенном возрасте — чем раньше, тем лучше. А для этого их надо будить — чувство справедливого и чувство прекрасного, чувство боли и чувство ответственности.

Лет пятнадцать назад после бурных дискуссий областные филармонии открыли свои двери так называемым вокально-инструментальным ансамблям с их «молодежной музыкой». Конечно, это легче, чем создать один хороший симфонический оркестр, и вот результат — мы с вами воспитали поколение глухих. Их поп-музыка (какое название!) может быть хороша, плоха, но она не обращена к эстетической потребности человека в истинно прекрасном, в духовном идеале. Она бьет по нервам, но не задевает души. Она работает на инстинкты. По своей природе она однодневна, и потому всего лишь субпродукт, суррогат. Может, у нее есть небольшие заслуги, но она не должна была подменить, как это у нас случилось, подлинную музыку. Так на наших глазах выросло поколение с рудиментарной эстетикой.

— Не сгущайте краски!

— Что вы! Я набросал акварельный эскиз! В результате то, что принято называть серьезной музыкой, испытывает непомерные перегрузки: с одной стороны — резкое падение интереса к ней, с другой — размывание границ исполнительского мастерства. Внутрисоюзным, а бывает, и международным конкурсам предшествует конкурс анкет исполнителей. Дележка сфер влияния одних преступно замалчивают, других, столь же преступно, тянут за уши. А что в областных центрах! Во что мы превратили оперу! Зачем держать на государственном бюджете десятки третьеразрядных оперных трупп — чтобы приобщить народ к культуре? Это то, что в одном анекдоте называют знаком качества третьего сорта. Но третьим сортом никого не воспитаешь... Когда-то к нам приезжали Филадельфийский, Лондонский оркестры, приезжал Караян, Ансерме, Бенци... приезжал Казальс, приезжала Мариан Андерсон. А кто ездит сейчас? Назовите хоть одно известное имя? Зато приезжает какой-то Тото Кутуньо, и газеты, телевидение чуть не дерутся за право взять у него интервью. Здоровое стремление жить лучше и веселее породило непотребное потребление. Искусство теперь тоже потребляют. Вместо эмоционального потрясения — удовольствие, развлекаловка... Мы превратили искусство в подножный корм.

Этими словами, дорогая, я и закончил свое выступление.

Однажды Рахманинов сказал, что до сорока лет надеялся, а после, сорока только вспоминал. Ну что ж, при таком раскладе самое время подвести предварительные итоги...

Если я все-таки стал дирижером, пусть рядовым, незнаменитым — нынче знамениты только эстрадные певцы, те, что на телеэкране, а дирижер по-прежнему стоит спиной, вообще на экране он выглядит подозрительно, палочка в его бескостной руке скорее поддакивает, нежели ведет за собой, потому что оператору интересней кренделя валторн и частокол смычков, оркестровое действие разворачивается как бы задом наперед... — так вот, ежели я все-таки стал дирижером, то разве что из упрямства, крестьянского упорства своих предков-землепашцев — навалившись на соху, переть аж до кромки поля.

Быть в музыке вундеркиндом — явление не только нормальное, но и желательное. Я им не был. У меня не было и нет абсолютного слуха, то есть инструмента, данного, что называется, от бога, знака избранных. И в семье моей, в роду не было музыкантов. Тем не менее, сколько себя помню, я всегда хотел быть дирижером. Или так — я всегда хотел быть знаменитым. Для меня эти слова были синонимами — вот он, знаменитый дирижер, во фраке, выходит на сцену и обращается

лицом к оркестру, спиной к залу, подтверждая тем самым, что музыка есть таинство. Дирижером я стал, а вот знаменитым... Я и не заметил, когда эти слова разминулись во времени.

У отца моего, как и у матери, не было и вовсе музыкального слуха, тем, видимо, заметнее с самого раннего детства был этот мой небольшой дар — просто слух, музыкальный слух и музыкальная память. Я слышал, я запоминал и мог повторить без ошибок. Немного для начала. Но, бог мой, как я любил музыку! Потом, когда она стала если не моим призванием, то моей профессией, я больше никогда ее так не любил — я вынужден был вгрызаться в нее, разымать на части — тогда же она витала надо мной во всей своей неуловимо прекрасной целокупности. Кстати, матушка имела-таки тягу к музыке, о чем говорит и тот удивительный факт, что в бедной своей юности — мой дед, ее отец, умер, когда ей было тринадцать лет, а злобная, как в сказках, мачеха не оставила по себе ни одного доброго воспоминания, — в бедной юности своей она взяла несколько уроков игры на фортепьяно. Возможно, она овладела бы и нотной грамотой, если б ее первый и последний учитель, подрабатывавший в доме отдыха, где она преподавала бальные танцы, если б он вскоре не поставил ей для продолжения занятий такие условия, какие она принять, естественно, не могла. Тем поразительней, что при коротком, как отдых в Крыму, знакомстве с фортепьяно, она, как говорится, довольно изрядно музицировала — в несколько патетико-мелодраматическом духе. Ее левая рука не цеплялась судорожно вторы за правую, и ее дилетантство отнюдь не резало уши. Не скоро я сравнялся с ней, не подходившей к инструменту годами, в технике — еще один пример того, что создатель не ведает, кому что дает, и не несет никакой ответственности за дары свои.

Да, я любил музыку, те самые «Прелюды» Листа, положенные моей матушкой в основу своей ни с кем не разделенной тоски. Человек трезвый, сильный, вряд ли она ждала от жизни больше того, что жизнь ей давала, но одиночество ее души так и прошло через всю ее жизнь как нераспознанный, неузнанный талант, а о том, что он есть, я таки догадался по ее ни к кому не обращенным вздыхающим аккордам, по этим музыкальным взрыдам, замирающим на низах.

Поэтому на меня она смотрела строго, взыскательно и с надеждой, и, хотя ничего для моей музыкальной карьеры не сделала, я всю жизнь старался совместиться с ее представлением обо мне. Не «сделала» в том смысле, что даже, например, в музыкальную школу отвела меня не она, а отец. Правда, у него для этого было больше оснований — его первая жена была музыкантшей. Не помню, создавал ли я тогда, знал ли уже, что это его первая жена, но почему-то я хорошо запомнил эту невысокую, гораздо старше моей матушки женщину, прямую, подсушенную годами, с плотной укладкой темных, подкрашенных хной волос и прокуренным голосом, неожиданно назвавшую моего отца уменьшительным именем, — она прошла к фортепьяно, почему-то помню ее развитие, как у танцовщицы, икры, хотя точно было известно, что она музыкантша, — все это совершалось днем, в полусумраке пустого огромного помещения в консерватории, портреты то ли Глазунова, то ли Антона Рубинштейна, то ли их вместе, тусклый, недалеко лежащий от окна свет и звонкое холодноватое эхо ее острых каблучков — она подошла, плавно села за фортепьяно и, не глядя, как бы уйдя в слушанье, нажала клавишу, вызвав повисший в этой тусклой звонкости звук, и попросила меня его повторить. Звук висел в воздухе на небольшой высоте, как надувной шарик после праздника. Я повторил, будто взял в руки его обмякшее тельце, — она извлекла другой, повыше, и я потянулся за ним, слыша, как он слаб и одинок. Потом она заставила повторять за ней стук, которому придавала все новый ритмический рисунок, — почему-то мне вспомнился граф Монте-Кристо, — и вроде бы удовлетворенная моим откликом, обернулась к отцу:

— Ну что, Левочка, можешь отдавать его в школу. Я позвоню...

Еще был разговор о том, что в двенадцать лет на фортепьяно и скрипке учиться поздно — это возраст для духовых инструментов. Так я стал духовиком. К этому времени я уже различал инструменты оркестра — не зная их по именам, я все-таки слышал, кроме скрипок и виолончелей, заунывно-протяжные голоса каких-то пастушьих рожков и свирелей, а с трескуче-торжественной медью труб самого разного размера, похожих то на раковину улитки, то на пионерский горн, то на какую-то парораспределительную систему в котельной нашего дома, я был знаком с победных послевоенных времен.

Я выбрал то, от чего замирал каждый раз в Адажио «Лебединого озера», — кларнет. А впервые взяв его в руки — длинное, холодное, черное тело его, увитое бесчисленными серебряными клапанами, рычажками, — испытал сильнейшее разочарование, так как тут же узнал, что соло в Адажио принадлежит не ему, а гобою, и, стало быть, никогда, сидя в таинственно мерцающей оркестровой яме, я не исполню этой пленительной, тревожно восходящей и ниспадающей мелодии, которая была сродни ищущей себя среди черно-белых клавиш матушкиной печали. Но было поздно. Откуда мне было знать, что кларнет я надолго полюблю самой искренней любовью подростка, а в гобое, его пискляво-тягучем, как засахаренный мед, голоске, уже больше ни разу не испытаю нужды, как и в этой теме из Адажио второго акта, которая так и не выпростается из моего детства, сохранившись разве чудом, как сохраняется, завалившись за чемоданы, детская игрушка, потеряв свою неведомую, когда-то в ней заключенную тайну жизни.

Скажем так: когда я взял в руки кларнет, ощутив неловко распыленными пальцами холодок его клапанов, и когда попытался извлечь из него глубокий альтовый звук, отливающий утренней росой, синью еще не озарившегося неба, кончилось мое детство.

Дорогая, я обещаю тебе не слишком распространяться о музыке — слова не заменяют ее, разве что намекают на ее присутствие, — я могу рассказать только о том, что споспешествовало ей в моей жизни, и сам-то рассказ я затеял только потому, что впервые в жизни испытываю желание исповедаться. Вольтер говорил, что утром он составляет хорошие планы, а днем делает глупости. Не знаю, день за окном или ранние сумерки, эдак часов пять по местному времени, но ворох глупостей растет. Сколько их еще впереди?

Музыка, музыка... Мой ум был тогда такой же узенький, черненький с серебряными крапинками, как кларнет. Он дудел, воображая, что это целый оркестр. Нет, он даже не воображал — он дудел, и этого ему было достаточно. С чего начать? — с моего учителя? — как и у моей матушки, первого и последнего в моей жизни? С того, что там, где я жил, мой двоюродный брат и друг двоюродного брата, в свои взрослые восемнадцать лет снисходительно не услышав маленькой дудочки за стеной, бережливо вставляли в тяжелую головку послевоенного проигрывателя вместо стальной деревянную иглу колючего кустарника, опускали ее на довоенную пластинку, и из-за стены неслась могучая музыка оркестра, хора, которую, как атлант, взваливал на себя единственный на все времена певец с басовой фамилией Шалапин?

Они были меломанами, коллекционерами, а я всего-навсего исполнитель, пешка на шахматной доске оркестра. Подумать только — это было чуть ли не тридцать лет назад — без телевизора, магнитофона... Как мы жили? Как это у нас получалось?

Один из них, то есть мой двоюродный брат, пел. Учился он в картографическом техникуме, но вел жизнь богемы, ходил в белом шарфе, один конец которого перекидывал назад через прямоугольное плечо долгополого пальто, другой конец свешивался впереди на большие потрескавшиеся пуговицы, у горла же шарф стоял щитком, за который брат прятал подбородок, прокашливаясь оттуда аккуратно и глубоко, с подачей голоса, как настоящий артист. Артистом он и был в широком смысле этого слова, потому что его сырой, нераспевшийся баритон, которым за все время, пока я там жил, он так и не взял ни одной ноты, а только ощупывал его прокашливанием, как шупают пистолет под подушкой, чтобы спокойно спать дальше, потому что баритон этот все равно был как бы пропуском в другой мир, который не был занесен ни на одну здешнюю карту. Он, мой картографический брат, и спал наяву сном артиста, и голос первого певца Вселенной Шалапина как бы превращался в его собственный голос, когда он, замерев перед граммофоном с парижской коллекционной пластинкой, внимал до судорог знакомому: «На земле весь род людской чтит один кумир свяще-э-э-э-э-энный...» «Люди гибнут за металл!» — грохотал голос, выпрямляя на себе корявость перевода, а мы с братом по разные стороны одной стены, не сговариваясь, готовы были погибнуть за музыку.

На пластинки уходили все их деньги — на пластинки и оригинальные фотоснимки Федора Ивановича. И естественно, брат брал уроки пения — об этих уроках, которые тоже стоили немало, было много разговоров на кухне, где верным его слушателем была моя матушка, поощрявшая заодно с моими и его артистические наклонности.

Мои музыкальные штудии брат так, по-моему, и не оценил, зато долго как анекдот рассказывал близким, что я попросил его поставить мою любимую пластинку, назвав ее «Танец Анюты», из григговского «Пер Гюнта». После этого моего конфуза он долго говорил о необходимости знаний, о расширении кругозора, об интеллекте и советовал изучить Большую Советскую Энциклопедию. Его разговор со мной почему-то очень взволновал отца, который, что было полной для меня неожиданностью, назвал моего артистического брата бездельником и шалопаем. Это было не слишком педагогично, потому что в такие годы авторитет старших братьев значит гораздо больше родительского, но польза в той непедagogичности тоже была, ибо моя поколебленная вера принялась искать собственные ответы на собственные вопросы.

Если у моего брата определенно был голос и, видимо, он ему пригодился, когда, не дождавшись, пока он станет певцом, брата призвали в армию и в звании младшего сержанта он зычно отдавал команды своему отделению и был лучшим полковым запевалой, то у его друга голоса не было — не только певческого, но даже обыкновенного, словно в детстве он ненароком хватанул укусной эссенции. Но это не мешало и ему грезить о сцене и собирать записи Собинова, Тито Руфо, Карузо, Джильи... Говорил он почти без включения голосовых связок или разве что — на одной, похожей на вату. К тому же он не выговаривал нескольких согласных, среди них «л» и «р», но в отличие от брата имел не только у моей матери, но и у моего отца определенный авторитет. Он был, что называется, хороший человек, к тому же добрый и мало приспособленный в силу своей доброты к жизни. От него мне перепала колоссальная коллекция старинных монет — достаточно ему было услышать, что я их собираю, — позволь, я позднее расскажу тебе и о них; а в ту пору у него был долгий, неразвязывавшийся роман с еще молодой, но много старше его вдовой, обремененной тремя детьми, — поверенная во все его душевные терзания матушка моя давала ему советы, не знаю их существа, но в конце концов он женился на молодой вдове, и я снова увидел его только лет через двадцать — он совсем не изменился, косвенно подтвердив мою версию, что хорошие люди медленнее стареют.

Роман был и у моего брата, и, как и пению, слушанию музыки, коллекционированию, он посвящал ему немало времени. Его девушку звали Кира. В отличие от пего, уже лысоватого, что, впрочем, он и не скрывал под жиденьким своим сальным ежиком, к тому же с лоснящимся лицом, недавно пережившим нашествие юношеских угрей, что не прошло бесследно для его изможденных в борьбе с ними щек, в отличие от него Кира была воплощением красоты, притом красоты ангельской, какую я видел на открытках с выставки картин Парижского салона конца прошлого века, она, кроме того, была похожа на юную Ирину Скобцеву — Дездемону из фильма, который моему неискушенному знанием Большой Советской Энциклопедии существу показался откровением (в то время как мои духовные пастыри жестоко его высмеяли). Вернее, она была много краше Скобцевой, выражением ангельской кротости были полны ее огромные голубые глаза, в которые мне, подростку, озадаченному появлением в себе новой пугающей чувственности и стыдливо пытающемуся найти ей выход, хотелось глядеть беспрерывно с непонятной жадной слез. В глазах ее была та опаловая дымка, которую я замечал на горизонте, на грани моря и неба, полагая, что вот там-то и сокрыто мое будущее, и призрак корабля, проходившего там, белое, едва угадываемое пятнышко палубной надстройки, призрак этот был моей будущей жизнью, и мне хотелось взять туда и Киру. Пока же с ней встречался мой брат, не вызывая у меня ревности только потому, что без него, видимо, она никогда бы не появилась в нашем общем доме. Кира очень нравилась и моему отцу, но отец жалел, что она тратит время на пустого человека. Кира была высокой, с красивыми белыми руками, с длинными, чуть прозрачными алебастровыми кистями — и, пристально взглянув на нее сквозь то немодное, не умеющее одеваться и не знающее красивой одежды время, можно было обнаружить, что за неказистой одеждой коммунальной бедности скрывается крупный сильный стан и развитая нежная грудь — нежная по родству с длинной, прекрасной в своей кажущейся незащищенности шеей, шеей королев и государственных преступниц. Такой, по крайней мере, виделась она мне. Кира была тихой, сдержанной, но собственная красота не была для нее секретом, а то, что она одаряла ею моего некрасивого брата, разве не являлось доказательством его незаурядности? В юности наши намерения еще не отделены от нашей сути, личность проявляется именно в намерениях — кто может наверняка сказать, что станет с ней, личностью, по прошествии определенного срока и пути? Итог этот у каждого на лице после тридцати трех лет... И для назначения на ответственный пост я бы изучал не анкету, а физиономию.

Но мой брат был молод, мечта еще освещала его лицо, и, видимо, оттого оно было-таки прекрасным, особенно в тот день, когда, не вынеся надрывающей сердце арии Неморино, я выскочил из своей комнаты, чтобы вместе с братом, рядом с ним, преклонить голову перед двумя неизвестными мне гениями — Доницетти и Карузо, и, не перешагнув порога гостиной, так и остался за портьерой — в комнате, залитой, как светом, золотисто-оранжевыми звуками, стояли мой брат и Кира. Они стояли неподвижно, глядя друг на друга и ничего не замечая вокруг, — он держал ее за плечи, а она вечным женским жестом не то защиты, не то признательности положила обе свои прекрасные ладони ему на грудь... музыка не кончалась, и, пока целый долгий миг мне дано было видеть их, они продолжали глядеть в глаза друг другу, как, может быть, больше никогда в жизни не поглядят. В конце концов они стали мужем и женой, а потом мой брат бывал еще много раз женат, проявляя именно в сугубо личном и тайном незаурядную, не убывающую с годами придирчивость большого художника.

Но и в ту нашу пору он уже ступил на шаткие мостки конфликтности, разыгрывая свой любовный сюжет по законам оперной драматургии. Дабы не пресытить свою избранницу вниманием или чтобы не пресытиться самому, он, например, вдруг отказывался пойти на ее день рождения, и вестником его решения почему-то должен был стать я. Он долго наставлял меня, куда я должен идти и что должен сказать, — и его сыровато-бархатный баритон звучал все более заискивающе, все виноватей, так что я уже и глаз поднять не мог — в какой-то момент он схватил шапку, но передумал и снова просительно уставил на меня свои бесцветные, с белесыми ресницами рассеянно-прозрачные глаза.

Я пошел. Я шел сквозь зимний вечер, сквозь падающий снег, мимо окон консерватории, откуда вверх-вниз неслись звуки флейты, скучный сумбур фортепьянных арпеджированных аккордов, нагловато требовательный вскрик трубы, холодная капель арфы, — но до весны было недалеко, падал снег, шли машины, просвечивая марлевою занавесью огоньками подфарников, и я, снедаемый не то стыдом за брата, не то собственной любовью, с пылающими ушами и щеками, с пропавшим во мне голосом стоял перед дерматиновой дверью, перед набором кнопок по обе стороны ее, как на гармонике, отыскивая нужную, чтобы позвонить.

Открыла она сама — в чем-то шелковом, голубом, красивее, чем прежде, и почему-то доступнее. Еще не узнав меня, она тем не менее попросила войти, но я замотал головой и так, из-за порога, и передал то, что меня просил брат.

— Заболел? — переспросила она грудным взыскующе-веселым голосом, и хотя выражение ее лица не изменилось, было видно, что она ищет верную оценку услышанному, — и тут из-за спины вынырнул какой-то человек, не закрыв за собой внутреннюю дверь, откуда шумнуло в прихожую волнующим духом взрослого застолья. Он был еще плешивей моего брата, но с веселой повадкой и с более свежим и уверенным, чем у моего брата, баритоном, которым он тут же пропел что-то мучительно знакомое: «Нет, поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами...» Прервав пение, потому что за дверью стоял подросток, вряд ли способный оценить фразировку и красоту тембра, он повернулся к Кире, так что мне стал виден его насмешливо-уверенный профиль, и произнес речитативом, как со сцены:

— Он так и не придет?

— Что передать? — спросил я чуть раньше, чем следовало, боясь забыть наставление.

— Передайте, пожалуйста, — сказала она, — чтобы выздоравливал, — и по ее голосу было понятно, что она не очень высоко оценила изобретательность брата.

Еще мучительней было объяснение с ним — мой скрупулезный отчет, как я позвонил, и кто открыл, и в чем она была одета, и что говорила, и какое при этом было лицо, — больше всего его обеспокоил вынырнувший фертом веселый плешивец, которому, по моим описаниям, было дано имя Володька, и я долго не мог вспомнить мелодию и слова из оперы «Евгений Онегин», хотя именно в них-то и погрузился мой брат за разрешением какой-то сильно взволновавшей его догадки.

Мне жаль покидать их — моих ничего не ведавших о том первых музыкальных наставников, — я давно потерял их из виду, знаю только, что они так и не изменили главной своей любви: один из них теперь крупный коллекционер прижизненных пластинок и фотографий с автографами Шаляпина — чем счастливей складывалась судьба его коллекции, тем незадачливей его личная жизнь, словно они существовали одна за счет другой; второй же, а именно мой брат, потеряв и голос, и неизвестно когда и кем зароненную в него безумную мечту о сцене, по-прежнему тонкий, разве что чуть брюзжащий знаток мирового вокала, и в его оценках, которые бывают и глубоки и точны, нет-нет да прорывается ностальгическое: «Вот в наше время...», что дает собеседнику основание думать, что только трагическая случайность прервала восхождение столь многообещающего таланта.

А может, так оно и было? Ведь случай и то, что я все-таки стал дирижером. Можно ли его отыскать в бытовом хламе ежедневности, в кладовке отжившего, пинакотеке утраченных ценностей? Не сердись, дорогая, если время от времени я буду впадать в сентиментальность — ведь у меня есть только то, что было. Рано ли, поздно — начинаешь с этим считаться.

## 2

Все, что я совершил в жизни, я совершал по какому-нибудь толчку извне. Надо только добавить, что каждый раз я оказывался к нему готов. И все-таки действие на мою судьбу внешних, от меня не зависящих сил до сих пор и озадачивает и интригует меня. Мне все хочется докопаться до зернышка первопричины — во мне оно самом или вне меня? Если во мне — это было бы доказательством исключительной гибкости, приспособляемости моей натуры, оправдывающем свой скачок навстречу изменяющейся судьбе внутренней готовностью к переменам. С годами я все больше подозреваю себя в фатализме: мне никогда не удавались дела, замысленные исключительно по моей воле, и лучше выходило то, вроде бы внешнее, чему мне предлагалось просто довериться. Может, поэтому я не испытывал в жизни больших разочарований.

О чем то бишь я? Не раз я жалел, что не стал путешественником, акванавтом, художником, врачом, писателем, наконец. В каждой из этих профессий, будь у меня к ним талант, — а может, он и был? — в каждой из них я наверняка был бы не менее счастлив или несчастлив, чем теперь, когда уже ничего — я-то это знаю, ничего нельзя поправить и изменить. И когда ты спрашиваешь, чем тебе заняться, я испытываю робость и благоговение — ибо это чудо, что ты можешь еще выбирать, и кто я такой, чтобы, оборвав твои ветки, оставить одну-единственную.

Я думаю, единственным ключом к разгадке твоего предназначения служит внутреннее чувство правды, чувство соответствия того, что ты делаешь, с тем, что ты есть. И если я все же не изменил музыке, то только потому, что на любом другом поприще был бы бездарнее, то есть менее честен, чем здесь. И еще потому, что тайный мой голос, голосок из детства, из самых недр подсознательного, голосок, равный воле и инстинкту жить так, а не иначе, я различал в себе только тогда, когда работал. Когда несколько лет назад после всех своих семейных катаклизмов я загремел в больницу, и дело долго не шло на поправку, и врачи стали предполагать худшее, так что я сам стал думать, что это конец, единственное, о чем я, помню, больше всего жалел — это что так и не успел сыграть со своим оркестром Вторую симфонию Малера. Я очень хорошо запомнил свое сожаление — оно-то и дает мне косвенное основание думать, что я прежде всего музыкант.

От природы я человек робкий, ни в чем не уверенный до конца, — смелым меня делает только работа, когда в слепоте озарения не одергиваешь себя, а бросаешься в неизвестность очертя голову — и только потом, скрывшись от посторонних глаз, я могу тихо оплакать своего очередного недоноска, пока друзья не настоят, что ЭТО ХОРОШО, и тогда я нехотя соглашусь с ними, втайне все же подозревая, что в очередной раз обманул тех, кто в меня верит.

Да, вот еще. Я дико честолобив. Мне нужна сцена, аплодисменты, цветы, интервью, поездки за границу, особая больница с палатами на двоих. Я должен много зарабатывать, а внизу должна ждать машина, чтобы я сказал Толе-шоферу: «Езжай, я пойду пешком». Я знаю, любовь моя, это худшее, что во мне есть, хотя бывали вещи и похуже, но у меня вряд ли хватит смелости признаться в них, — но это худшее, потому что это по-прежнему остается во мне, в то время как от остального я в разное время более или менее успешно старался освободиться. И еще я любил

женщин и был два раза не очень счастливо, а может, и не очень несчастно женат, и у меня, как ты знаешь, есть сын, и ему ни разу не пришло в голову перестать называть меня отцом. Жены мои, по моему теперешнему разумению, были хорошие женщины, и о них я тоже должен тебе рассказать — тогда, может быть, ты лучше поймешь мои слабости и поможешь мне в том, в чем они не смогли помочь. Человек я действительно несильный — боюсь сказать, слабый, — но именно таковым многие женщины меня и называли, чувствуя себя рядом со мной гораздо сильнее, чем без меня. Может быть, они и правы, но мне в отличие от них никого никогда не хотелось закабалить. Я думаю, настоящая сила в том, чтобы давать ощущение свободы. Вот на отсутствие свободы рядом со мной ни одна из них не могла бы пожаловаться. Только почему-то она им была не нужна. Иногда мне даже кажется, что я остался один только потому, что они в конечном счете не смогли мне простить этой своей свободы. А я, признаюсь, потому, видимо, и был великодушен, что только наедине с собой и мог расслышать сам себя.

Честолюбие у меня с детства, прожитого, видимо, немного не так, как следовало бы. Детство мое ущемлено болезнями, из которых произросла болезненная впечатлительность, если не наоборот, что, впрочем, уже не имеет значения, — болезнями и моей матушкой, потому что мы с ней из одного теста, никогда ни в чем ни разу не уступившие друг другу, при долгой моей прежней, а ее — нынешней покорности. Началось это у нас с ней еще, видимо, в пору моего утробного состояния — я чуть не убил ее своим рождением и уже с грудного возраста помню свое сопротивление ей. «Несчастный!» — скажешь ты и будешь права. В ауре матушкиного цепящего очарования я дожил чуть не до возраста Христова и тут только осознал, что как бы и не жил еще, потому что, за исключением армейских лет, жил не по-своему, и только в умолчании, в попытке отъединиться пестуя свой ничем не похожий на ее мир. Увы, она не была Верокио, отступившим перед гением Леонардо да Винчи, написавшего на его картине одного из ангелов. Она была убеждена, что ее картина мира несравненно мудрее и правильнее моей и роль моя — только довершить намеченные ею объемы. Ты скажешь, я впал в крайность. Не знаю. Матушка моя действительно творец, не сотворивший ни одного полотна, — и это самое загадочное в ее судьбе, при том интенсивном переживании жизни, которое ей было дано в гораздо большей степени, чем мне.

Конечно, мне это не доказать, но знаю, что необыкновенная ее сила могла бы в свое время повлиять на многое вокруг нас. Я говорю — «в свое время», потому что оно хоть и дается каждому, но дается только однажды и мало кто по-настоящему, вполне ощущает этот момент, чтобы вскочить на коня. Ее не востребованный ею час пробил, когда ей было тринадцать лет. Она жила в Самаре и, окончив семь классов средней школы, мечтала о танце в духе Айседоры Дункан — когда в новом, освобожденном движении человеческого тела рождается новая душа и идея, — а пока выступала в рабочем клубе, в самодеятельности. У нее есть снимок, где в кордебалете одетых в марлю сильфид с самого краю, старательно вытянув шею, застыла девочка, очень похожая на матушку, и в угловатости ее уже прослеживается грация, которая потом всю жизнь будет отличать ее в толпе того не слишком грациозного поколения.

В рабочем клубе ей и сказали однажды, что Большой театр объявляет набор в хореографический класс и что для этого нужны, кроме анкеты, фотоснимки в полный рост, чтобы можно было рассмотреть фигуру. Клубный фотограф Женя Кац снял ее в той самой марлечке сильфиды, не подозревая, что ее тонкий, угловато-застенчивый абрис запечатлется не только на стеклянной, зачерненной серебром пластинке негатива, но и в его душе, и лет через пять, будто проявившись, заставит его настойчиво, но безуспешно добиваться руки и сердца моей матушки, о чем в нашем семейном альбоме останется на память целая галерея его остроскулых, со жгучими глазами портретов...

Ну а пока, ни о чем подобном не подозревая, даже не взглянув, весь всклокоченный, рассеянный, он кинет на стол жеваными, желтыми от проявителя и закрепителя пальцами два ее снимка, и она отошлет их в Москву. Через месяц придет ответ — ее вызовут то ли на конкурс, то ли сразу на занятия как девочку пролетарского происхождения...

Собрав вещи в узелок, она села в поезд и вышла на Казанском вокзале в Москве, и в тот жаркий августовский день на пыльной площади в неистово рыщущей толпе 1934 года, обозначенной тремя посконными цветами бедности — черным, белым и для разнообразия серым,

— для нее не нашлось доброго ангела, который бы указал дорогу. Появись она всего лишь годом позже, тогда от станции метро «Комсомольская» она бы через несколько перегонов добралась до площади Свердлова — а там нельзя было бы не дойти до колоннады Большого театра, не узнать его по четверке коней над портиком, которыми правил вознесенный над людьми бог искусств Аполлон. Тогда же ей показалось, что из круговорота толпы, в которой каждый был устремлен к чему-то прекрасному, ей не выбраться никогда, что вообще Москва — это и есть такое место, куда приезжают за своей судьбой со всех сторон безмерной страны, и она в первый и последний раз устыдилась самой себя, показавшись себе такой же никчемной, как узелок в руках. Она походила по площади трех вокзалов, все больше теряясь в чужой определенности, и вдруг поняла, что знает из нее выход, — надо просто вернуться домой. Так она и сделала.

Это было в последний раз, когда она растерялась в жизни, когда ее выплеснуло на край, — помня об этом, она в дальнейшем уже никогда не пасовала, и не было тех преград и обстоятельств, которые она не могла бы превозмочь, — но ту единственную, данную ей возможность совсем другой, то есть не другой, а настоящей судьбы, она утратила в жаркий августовский день, и навсегда.

В жизни каждого из нас наберется немало упущенных возможностей, но они не равня той, что упустила моя матушка. Она упустила больше — саму жизнь. И как человек несколько фаталистического хода мыслей, я не устаю вопрошать, почему все-таки судьба не дала ей в тот жаркий августовский день доброго ангела в виде милиционера, московской интеллигентной старушки-музыкантши, молодого человека из метростроевцев, многодетного вагоновожатого, спешащего на Кузнецкий мост за покупками, — нагрудный карман его пиджачка плотненьким самодовольным теплом нагревали две товарные карточки.

Не устаю вопрошать потому, что в этом случае она бы никогда не встретилась с моим отцом, волею того же крутого времени заброшенным вскоре в ее заштатный городок, чтобы еще через несколько лет родился я, дабы в чужой музыке попытаться выразить, что чувствовала она, он, я сам, две моих жены и мой сын в разное время нашей идущей, некончающейся жизни. Не могли же силы добра пожертвовать ее безусловным, неоспоримым призванием, дабы в следующем поколении дать ход призванию более чем сомнительному, к тому же никогда не настаивавшему на своей избранности.

Но, может, отсюда и возникло в ней столь сурово-нетерпеливое ожидание подвига своего сына. Она как бы пожертвовала собой во имя меня — и всю жизнь требовала искупления своей непомерной жертвы.

Только исходя из этого путаного рассуждения, я могу объяснить два ее поступка, которые, явно вопреки ее намерению, сильно ущемили мое самосознание, добавив в оптимистическое мироощущение изрядную дозу мне самому мало понятной горечи. Впрочем, когда я, уже взрослым, напомнил ей об этом, она так и не озадачилась, не испытала угрызений совести, заметив только: «Какой же ты все-таки злой и неблагодарный сын». Она, видимо, имела в виду какие-то другие случаи, в которых, наоборот, ее участие как бы и позволило мне стать тем, кем она хотела меня видеть, — и если уж я брался ворошить прошлое, то должен был бы равными горстями отмерять хорошее и плохое... Она права, но что поделать, коли от этих двух, в общем-то пустячных, событий я веду счет всем своим поражениям.

Ты, конечно, догадалась, что я буду рассказывать о детстве. Помнишь, я просил тебя рассказать о своем. «Много хочешь знать!» — не очень вежливо ответствовала ты, будучи правой тем не менее в главном — я бы узнал таким образом о тебе гораздо больше, нежели знаю теперь. А это мне необходимо, ибо многие твои поступки, точнее сказать, выходки ставят меня в тупик. Иногда мне кажется, что детство твое было ужасным. «Обыкновенное, забитое», — как-то однажды в минуту, когда ты — это бывает так редко — сняла свои доспехи, услышал я унылое признание. Я затаил дыхание, но продолжением был только гневный посверк твоих глаз — я не должен был слышать и это.

Мое, видимо, тоже было забитым — я не решусь его пересказать, не покривив душой. Хотя били меня, пожалуй, только один раз, который я и не могу забыть. Да и то сказать — били. Просто

наказывали за дело, так что я должен был бы внутри своего потрясенного семилетнего существа испытывать все же что-то вроде удовлетворения: проступок мой был соответствующим образом оценен. Но что-то не перестает болеть и никогда не перестанет — может быть, поэтому я ни разу не поднимал руку на своего сына.

Так вот, было это на даче, на Рижском взморье, в Майори, этой стране моего детства, где на пересечении двух улиц — нашей Театральной (обрати внимание на название) и Йомас — был магазин детской игрушки. Даже не берусь описать, что тогда значила для меня игрушка, нет таких слов, коими можно было бы выразить ее великое таинство. Каждая из них обладала своей особой, скрытой от меня жизнью — сложив их в угол, под стол, сколько раз я тайком подглядывал за ними, ожидая, что вот-вот они, наконец забыв про меня, зашевелиятся, оживут в своей собственной, ничего общего со мной не имеющей сути. Я испытывал примерно то же, что и Алеша из «Черной курицы» Погорельского, который, видимо, наиболее точно передал мои собственные отношения с этим подпольным застенным мирком. Отмечу попутно то, что и посейчас озадачивает меня самого: ощущение тайны игрушечного мира, веру в его реальность я сохранил чуть ли не до седьмого класса, то есть до тех самых двенадцати-тринадцати лет, когда надломилось мое прошлое, и уже новые, до того неведомые ростки пустили чуть пониже надлома свои побеги. А тогда мне было всего лишь семь, я только кончил первый класс, так, кажется, и не осознав, чем школа отличается от нешколы, — я пойму это гораздо позднее.

Итак, угловой этот магазин был полон игрушек. Они начинались за витриной. Там стоял деревянный грузовик с таким большим открытым кузовом, что представлялся мне средством передвижения в ту предчувствуемую мной страну, где в главных ролях не люди, а сказочные существа. Он был покрашен в голубой цвет, колеса — в красный, а кабина — в желтый. Около него не было этикетки с ценой — он был единственный и не продавался, тем истовей я мечтал о путешествии на нем, каждый день в течение долгого лета задерживаясь на углу, шел ли я на пляж, или возвращался назад, или же проходил мимо по каким другим делам — чтобы купить молока, например.

Да, все началось с молока, с того, что в доме его не оказалось. Я ходил за ним не так уж редко — для этого мне выдавали длинный алюминиевый трофейный бидон в форме параллелепипеда, который наглухо затягивался алюминиевой же крышкой, стоило надавить на защелку. И вот мне выдали его, даже в отмытом, пустом своем нутре сохранявшего чуть тошнотворный млечный запах, и мы пошли, то есть я и мой друг детства по имени Марик. Видимо, мне придется рассказать и о нем, и я уже беспокойно оглядываюсь назад — не много ли я тебе наобещал. Все-таки не все люди, не все события — далеко не всё имеет прямое касательство к этой истории. Марик, незабываемый друг моего детства, канувший в своей теплой, задушевной семье, погрязший в неизбывном стремлении укреплять свой быт, благоустраивать свою маленькую шлакоблочную крепость, вынырнешь ли ты еще раз на поверхность бестолкового потока моей памяти?

Он был верным другом, он вообще умел быть верным, что проще тем, кто избирает себе лидера. Я был лидером.

...Мы дошли с ним до угла Театральной и Йомас, но не остановились у витрины, а сразу же свернули направо, к молочному магазину, чтобы уже на обратном пути отдаться лицемерию сполна.

Молока в магазине не оказалось, и мы двинулись дальше, где, как утверждал мой друг, оно обязательно есть. Путь был не близок, тем обиднее было обнаружить, что шли мы напрасно. К тому же немецкий этот бидон при всей своей ладной фронтальной компактности был все же тяжелым и углами своими бил по лодыжке, так что, когда мы наконец вернулись к заветной витрине, он мне порядком осточертел. «Подержи», — попросил я Марика. Деньги на молоко — помню, что это было десять рублей, сумма по тем дореформенным временам внушительная, — я, естественно, не истратил, и теперь в соседстве с удивительным миром они вдруг обрели новую ценность. Полюбовавшись грузовиком и обсудив, можно ли отправиться на нем вдвоем, мы перешагнули порог магазина. В отличие от грузовика все остальные лежащие и стоящие на полках разноцветные чудеса — некоторые висели прямо на стенках, не оставляя ни одного свободного кусочка пространства, — все они имели цену, и цена многих из них была меньше той суммы, что

мокро и горячо спрессовалась в моем кулаке. И тут то, что сверкало передо мной, стало переключиваться из области неутоленной мечты в область моего владения. «Это, это и это...» — лихорадочно окидывал я взглядом доступные мне ценности, не в силах остановиться на какой-нибудь одной.

— Давай что-нибудь купим! — выдохнул я наконец.

— Давай, — немедленно согласился Марик.

— А что бы ты, например, купил? — задал я коварный вопрос, уступая ему на миг право лидерства, будто предвидел возможные осложнения.

— Я бы... — задумался Марик, но вместо ответа вдруг совершенно отчетливо сформулировал мое тайное опасение: — А тебе не попадет?

— Не-а! — ответил я, поскольку ничего иного ответить уже не мог.

— Я бы купил ружье, — тут же сказал Марик, верно почувствовав, что уже скинул с себя груз ответственности.

Ружье было двуствольное, с деревянным желтеньким лакированным прикладом, с двумя курками — настоящее охотничье ружье, только стреляло пробками. Чтобы пробки не улетали, не терялись, к ним были привязаны шнурки — но зато с каким сочным альтовым хлопком откупоривались черненькие стволы!

Марик продолжал держать мой бидон, а я уже хлопал из ружья поочередно то левой, то правой пробочной.

— Сколько оно стоит? — храбро спросил я продавщицу, потому что уже знал цену. Оно стоило ровно столько, сколько сжимала моя запотевшая от счастья ладонь.

— Мы покупаем! — сказал я продавщице, этим «мы» еще раз пытаюсь подключить Марика к ответственности за происходящее.

— А мама не заругает? — спросил Марик, и странно, что и продавщица, как-то по-новому взглянув на меня, задала тот же вопрос. Неужели на меня уже легла печать мученичества?

Я яростно замотал головой, что только усилило сомнение продавщицы, но Марик завершил это дело одной фразой:

— Она у него добрая.,

— Ну смотри, — сказала продавщица. Так я стал обладателем ружья.

Спешить домой как бы не имело смысла, и мы отправились к заливу, чтобы там, в дюнах, среди высокой саблевидной травы да еще в низких кустах ивняка поиграть в охотников. И когда мы наконец снова оказались на Театральной улице, магазин игрушек был закрыт на обед. Нам тоже пора было обедать. Театральная улица, прямая, как и все улицы, соединяющие две основные, Йомас и Лиенас, просматривалась насквозь. Наша дача была как бы посередке, да и номер у нее был соответственный — 33, и там-то мы с Мариком и увидели вроде бы трех женщин, а пройдя еще, обнаружили, что это наши матери и с ними наша соседка (о ее роли в этой истории я ничего не знаю — предполагаю, что ее вынесло на улицу любопытство или чувство материнской солидарности, как-никак у нее рос собственный Колька, о котором я больше не скажу ни слова). Завидев этих женщин и признав в одной из них мою матушку, я спервоначалу обрадовался, быстренько закупорил пробочками стволы и с торжеством разрядил их — правда, на этот раз они хлопнули как-то робко, видимо, я в спешке затолкнул пробочки недостаточно глубоко. Поэтому я снова зарядил и с криком: «Мама, мы ружье купили!» — снова бабахнул в воздух. В тот момент меня не насторожило, что Марик послушно и даже с видимым усердием тащит мой бидон и почему-то больше не кланчит пострелять, хотя еще пять минут назад мы чуть не подрались из-за этого.

Я снова выстрелил и только тут заметил, что мама моя никак не реагирует ни на мои крики, ни на выстрелы. С момента, как я увидел ее, она не пошевелилась, она стояла, уперев руки в бока, и в одной руке у нее покачивалось что-то знакомое. Приглядевшись, я с удивлением узнал отцовский офицерский ремень. Я пишу «офицерский», дорогая, чтобы ты имела представление, насколько это прочное, плотное, красивое и внушительное изделие.

О дальнейшем вспоминать вовсе не хочется, даже сейчас. Да и помню я его урывками, словно погружаясь в удушающую пучину разыгравшейся трагедии, не видя, не слыша ничего и выныривая только затем, чтобы глотнуть воздуха прежней, такой прекрасной жизни. Помню, что ружье мое сразу куда-то исчезло, а я не то бежал, не то висел на маминой сильной руке, не то меня волокли, потому что ее шаги были несоизмеримы с моими. Ни слов я не помню, ни того, больно ли стегал ремень, — помню только ощущение полной катастрофы, гибели, полного разрыва с миром, ощущение падения в бездну, в пропасть взрослого гнева и насилия.

Досталось и Марику — почему-то дело обернулось так, что это он подстрекал меня к покупке, — или в оправданиях своих я праздновал труса, или же великодушный Марик в последний момент все-таки добровольно разделил со мной тяжесть проступка. История эта помнится мне именно полным и безоговорочным разломом моей личности — как бывает во сне, когда вдруг падаешь и разбиваешься, за секунду до пробуждения поняв, что тебя больше нет... Долго потом я искал это милое ружьецо: на полках, за чемоданами, на антресолях, в кладовке, в чулане, в сарае, между поленицей дров, чтобы в обнимку с ним, товарищем по несчастью, оплакать свою изничтоженную жизнь. Где оно, куда делось, я не смел у матушки спросить. И только сейчас, вот в эту самую минуту, дорогая, мне вдруг пришло в голову, что матушка моя просто взяла и отнесла его в магазин, продавщице, чтобы вернуть деньги, которые мне были даны на покупку трех литров молока. При матушкином обаянии, думаю, ей это было нетрудно.

Вторая история короче — ее почти и нет, хотя след ее тоже навсегда во мне. Скорее всего мне восемь или девять лет, а в городе идет потрясший наше мальчишеское героическое сознание фильм под названием «Звезда». Его пытались мне пересказать, но я затыкал уши и орал во всю глотку, предвкушая тот момент, когда и передо мной во тьме зала вспыхнет серебристый прямоугольник света, подрагивающий краями и непрестанно льющийся сверху вниз, в то же время, как водопад, оставаясь на месте, и затем в этот чуть подрагивающий от нетерпения живой и неподвижный поток спокойно и твердо войдут буквы «Звезда» — название фильма о советских разведчиках и их подвиге. Но в тот день, когда я сговорился с приятелями пойти в кино — они шли в жажде сопричастия, наверно, уже в третий или четвертый раз, — так вот, в тот злополучный день я что-то натворил, в чем-то ослушался матушку, и вдруг она объявила приговор: в наказание мне запрещалось выходить из дому. Мало ли было запретов до и после этого дня, но запомнил я именно его — так болезненно и безнадежно ждалось тогда все в моем нутре. И чтобы справиться с глубочайшим разочарованием, я вдруг сказал себе, что вроде не слишком и страдаю, на меня нашла апатия — потеря была так велика и окончательна, что уже не имело смысла и убиваться. «Не очень-то и надо», — подумал я. С тех пор и по сию пору, дорогая, я никогда ничего не хотел так, чтобы не быть готовым отказать от желаемого: жажда обрести и готовность потерять почти сравнялись во мне. Это одно из самых оплакиваемых мною свойств моих. В служении тому, на чем я настаиваю, в созидании действительности по велению своей воли я все-таки скорее робок, нежели смел, я ничего в жизни не исполнял фортиссимо. Боясь насмешки, дорогая. Насмешки судьбы. Твоей насмешки.

### 3

Душа недолго выносит голос отчаяния — она начинает заглушать его подголосками, прислушиваясь, не зазвучит ли один из них новой темой надежды. Утрачивая тебя, я постепенно снова начинаю различать их, они увещевают меня, обещая спокойствие или забвение, но пока не прорежется в их бесовском шепотливом хоре новая тема, я не нахожу себе места, мечусь в выгоревшем пространстве наших вчерашних отношений, но вот она уже звучит, суля спасение (кто ее придумал, напел?), — и я верю ей, дорогая, хотя понимаю, что это ненадолго. А что же дальше? Я могу терять тебя только ненадолго — я не могу потерять тебя навсегда.

Я живу тем, что в этом мире есть ты, та, которая меня поняла глубже других, — иначе большая часть меня так бы и осталась невостребованной. Неужели этот мир теперь только и удерживает меня тем, что через него проходишь ты, — и я снова пристально вглядываюсь в него, чтобы еще раз понять, чем же он так прекрасен... Потеряв тебя, я не сразу теряю ощущение его красоты — мне даже начинает казаться, что теперь-то, после того как мы все-таки встретились с тобой, теперь-то я не упущу его щемящей первозданности. Но проходят дни — и я снова перестаю видеть и слышать. Значит, смысл мой теперь не в нем, а в тебе, то есть в тебе, которая живет в нем. И мне уже не преодолеть этой двойной зависимости. Не покидай меня. Я придумал много вариантов своей жизни без тебя, я их придумаю еще больше, их такое несметное количество, что они похожи на мошек, роящихся перед дождем. Как жить с тобой, я не могу ни знать, ни придумать — это тайна, как тайной осталась музыка. По правде говоря, ее слишком много в моей жизни. В последние годы я все чаще нуждаюсь в тишине. Я знаю людей, которых музыка мучает, вызывая нестерпимую боль души, — они шарахаются от нее, как от чумы. Музыка — это моя совесть: я устаю от вечного отчета перед ней.

Оркестр... Будь он проклят вместе со мной! Почему я выбрал такую суетную, неблагодарную профессию посредника? Когда я кланяюсь залу, я чувствую себя лишним, абсурдным, словно режиссер, вылезший в штатском костюме в круг загримированных артистов и декораций. Музыка смолкла, перестала существовать, а я еще раскачиваюсь, как марионетка, в память о ней — она бросила меня, и каждый раз мне кажется, что безвозвратно. Пытливый Караян прилаживал под фрак и манишкой датчики, чтобы узнать свою физиологическую нагрузку. «Несносный наблюдатель!» — сказал бы я о нем словами Пушкина. Это напряжение ничем не измерить и ни с чем не сравнить. После выступления я снова включаюсь только через часа два — а до этого говорю и действую, как сомнамбула, хочется немедленно убежать, спрятаться, пересидеть. Я даже не слышу, как аплодируют, — в ухе у меня гвоздем торчит гадостный фа диез вместо фа, это засадил третий тромбон в восьмом такте четвертой части. Темирканов в таких случаях посылает воздушный поцелуй. Я посылаю буквальной — тромбонист это видел, теперь он виновато ищет мой взгляд, но я на него не смотрю. Я не буду замечать его до тех пор, пока он не подойдет и не извинится. Я не злопамятный, но за пакость надо нести ответ. Все это знают, и пусть некоторые меня за это не терпят — считается, что так я самоутверждаюсь, — от своего я не отступлюсь. А скрипки! Что делали первые и вторые скрипки?! Пиццикато, словно козий горох, вонючий козий горох! Почему я не повторил с ними это место? Я отсылаю аплодисменты оркестру, кошусь на первую скрипку, пожимаю его длинную — две моих — лапу и вместо «спасибо» говорю то, что не могу, дорогая, повторить. Он принимает как должное — знает кошка, чье мясо съела, — он всасывает верхнюю верблюжью губу, хмурится, как становой пристав. На то он и приставлен, чтобы играли, а не роняли навоз на лужайке. Вот такая жизнь.

Не знаю, с чем сравнить оркестр. Если бы воображением Льюиса Кэрролла удалось уменьшить его до размеров кабинетного рояля, то каждый инструмент должен был бы превратиться в отдельный молоточек. Чтобы сидели там — все как на подбор, плечом к плечу, струнка к струнке, — знай нажимай клавиши. В идеале таким и должен быть оркестр. Трудность, однако, в том, что молоточки все разные, и заставить их звучать ровно, сбалансированно — задача задач. Но только тогда в твоих руках музыкальный ящик, который на что-то годится. Это только начало — ведь каждый из оркестрантов, так сказать, личность, до тебя они перевидали многих, как заставить их верить, слушаться?

Милейший Арвид был прекрасным музыкантом, но какой бедлам царил у него на репетициях! А у шефа — могильная тишина. Такой тишины я ни у кого никогда не слышал. Это не только высочайший авторитет, это еще и эманация личности. Однажды он час в гробовом молчании продержал оркестр, поджидая трубача, по ошибке директора не вызванного на репетицию. Директор оркестра, в свою очередь, ждал увольнения, но трубач, отличный мужик, взял вину на себя, хотя это ему и стоило месяца опалы.

Одна из профессиональных болезней оркестрантов — лень. Как шеф ее преодолевает — это загадка. Со мной иначе — то я их, то они меня. Я — их, когда мне есть что сказать, когда я взволнован. Они, как дети, чувствуют интересное и сразу наостраются. Я не диктатор — как и с сыном, мне гораздо лучше удается метод убеждения, хотя это страшно хлопотно. Увлекаясь, я в конце концов и их увлекаю. Для этого мало быть искренним — надо еще, чтобы они поверили.

Но не со всеми номер проходит. Был в оркестре известный виолончелист, некогда солист, отчего у него сохранился непомерный апломб. Вскоре после моего назначения мы с ним сцепились, и как я ни убеждал его притушить свою бляющую подачу звука, он высокомерно отвечал: «Я всегда так играл». Мы оба уперлись, но меня только поставили, и я одним местом гвозди рвал. Бок о бок, как сиамские близнецы, мы прошли с ним сквозь профком, партком, райком и горком — а на обкоме он дрогнул и отвалил в оперный театр, благо там открылась вакансия, да и платили больше. Так что он долго всем рассказывал, как меня наказал. Дирижер и оркестр — это счастливый, но неравный брак, где один из супругов ради семейного благополучия берет на себя инициативу абсолютно во всех делах. Не хочешь — не женись. Но один — кому ты нужен?

Поэтому, что бы я тебе ни говорил, дорогая, мысленно или въяве, не обольщайся. Как бы ни было плохо без тебя, все-таки без оркестра хуже. И так будет всегда — нравится это тебе или нет. Я не осмелюсь признать это вслух — ты должна сама почувствовать. Почувствовать и принять — иначе быть не может. Иначе уходи, лучше сейчас, пока я не успел привыкнуть к тому, что у меня есть ты.

Вот уже восемь лет я бегаю на первое свидание, и эти спокойные, как из летнего леса, голоса инструментов, пока я раздеваюсь, достаю из «дипломата» партитуру, а из футляра, обшитого внутри глубоким черным бархатом, дирижерскую палочку (года три назад я вернулся к ней), этот легкий, порхающий хаос голосов — когда я войду, все уже должно сидеть на своих местах, — эти родные мне голоса звучат как самая прекрасная на свете музыка...

Мой первый и последний учитель. Как же это я забыл о нем — то есть не о Евгении Афанасьевиче Тучкевиче, а об учителе в нем. Я на лет десять отставал в понимании мира от требований, которые мир этот предъявлял к моему возрасту. И произошло это потому, что не было учителей. Господи, где они, не пришедшие ко мне вовремя учителя? Как бы они сократили пути, по которым я петлял, сколь ярче был бы свет, которым я пытался осветить впереди стоящие потемки. То ли время мне попало такое скупое на учительство, то ли им неинтересен был я... и однако же он был, и он сделал все, чтобы подросток понял, что музыка — это и совесть, и надежда, и время. Как он этого добился, я не знаю, за пять лет учения он сказал слов не больше, чем за пять минут разговора. И все-таки он и был моим единственным учителем.

Он курил «Беломор», заталкивая в папиросы вату, которую носил в специальной коробочке, — в другой у него были трости для кларнета. Помню эти коробочки на черном, многожды крашенном по прежнему слою столе, отчего поверхность можно было изучать как ландшафт — я бы сказал «лунный», но даже первый спутник еще не был запущен, и мы жили земными мерками и сравнениями. Помню неторопливую тщательность моего учителя, когда он набивал гильзу комочком хлопка, чтобы отгородиться от врачей, запретивших ему курить. Процедура эта имела какой-то целительный смысл, потому что если он и умер от рака легких, как это было ему обещано, то все же много позднее, чем предполагалось, так что он как бы обманул и врачей и судьбу, если допустить, что себя-то он не обманывал. Я потому остановился на этой его слабости, что других не помню. Подумать только — пять лет он возился со мной, год от году все больше убеждаясь, что я у него лучший, так что потом и я в это поверил — а в конце концов я признался ему, что бросаю кларнет... Но пока до этого последнего нашего разговора было далеко, пальцы меня плохо слушались, никак не перебираясь на вторую октаву: как бы с шероховатой основы ствола в складках коры, дававшей зацепки карабкающемуся, — к первым веткам, где ствол становился опасно гладким, что отдавалось ноющим холодком в сыроватых подушечках пальцев... и я все елозил вниз, срываясь в бархат звукового изножья или в петушиный, пробивающий густую крону звуков-листьев «кикс». Да, кларнет тогда казался мне деревом — любимым, главным пристанищем моего детства. До сих пор снятся мне его клапана-дупла, его долгий, вибрирующий ствол, и я все ищу-разыскиваю желтенький утиный клювик трости, переломленную палочку от мороженого, чтобы приладить к мундштуку, а мундштук прикусить, подвернув нижнюю губу, и, ощущая языком остренький щелястый край, вдохнуть в него свою надежду на будущее, свое первое представление о бытии. Почему в моих снах так плохо с тростями? Повырубили тростник? Где та коробочка Евгения Афанасьевича? — в ней было так много чудесных, любовно выточенных им язычков. Подтачивались они для нас, учеников,

подгоняясь под зубы, губы, дых каждого, высушенным хвощом, похожим на зелененький напильник-надфиль.

Был Евгений Афанасьевич небольшого роста, некрасивый, с тем рыхлым, старым, испытанным лицом, каких немало наберется у украинских пивных будок. Нехорош был и его пористый нос, но бесцветные глаза смотрели добро, спокойно, уверенно, отчего и вообще рядом с ним было хорошо и спокойно. Играл он во втором оркестре оперного театра, но, грешен, ни разу я так и не заглянул в яму, будто моему учителю подобало место повыше. Признаюсь и еще в одном — мне не нравилась его игра: кларнет его звучал почему-то так же глухо, как его голос, и каждый звук казался чуть присыпанным перхотью, как сутулые плечи учителя и ворот его пиджака. Конечно, для него не существовало технических трудностей, и коротковатые веснушчатые пальцы его скупое и экономно брались разрешить любой пассаж, даже транспонируя его с листа в любой иной тональности. Но это, втайне размышлял я, дело наживное, а звук дается сразу.

Он считал, что у меня хороший звук — независимо от кларнета, трости и мундштука. Потом я обнаружу, что как раз все наоборот, ну а пока я играл, и мне было хорошо. О, эти первые пьески из самоучителя Розанова! — счастье от того, что я узнавал их, прислушиваясь к голосу капающей юной слюной дудочки. Головастики нот, подвешенные на просушку на пяти ниточках, до-ре-ми-фа- соль, легато, стаккато, аллегро нон троппо, сфорцандо и поко а поко — с ума сойти!

Два раза в неделю я ходил в нотный магазин на Невском и, выдвинув ящик с надписью «Кларнет», перебирал тоненькие тетрадки пьес, оригинальных или переложенных с голоса да с других инструментов. Рядом рылись в ящиках трубачи и гобоисты, скрипачи и валторнисты, пианисты и певцы — верное братство служителей одной музыки, рыцари мелодии и ритма, мастеровые звука, музыканты-исполнители. Да, все мы были исполнителями — нам не терпелось отыскать и исполнить, внося в это удивительное действо гораздо больше самих себя, чем, скажем, в чтение книги. Музыка была нема, пока мы не брались ее одушевить, вытащить из развешанных от края до края страницы сетей — что в них, каков улов?

Дорогая, я пытаюсь удержать пустоту, звук, заполнивший гулкие стены школы, а потом стены училища. Слышишь ли ты его? Как рассказать тебе об этом самом беспредметном из искусств? С чем сравнить чувства человека, в чьих руках мелодия, а значит, чья-то душа, судьба? Боюсь — еще немного, и ты вежливо уставишься в пол, чтобы я не заметил, что веки твои опущены и ты спишь...

Мне не терпится перескочить в другой возраст, например в четырнадцать лет. Столько моему сыну — и он мне кажется почти взрослым человеком, то есть умеющим за себя постоять. Я был наивнее, ребячливее и попросту глупее. Но звучит ли в нем тот дивный оркестр, что звучал во мне? Я учился в двух школах — обыкновенной и музыкальной, — а по вечерам оглушал коммунальную кухню. Кларнет — инструмент громкий, и в комнате от него у всех начинала болеть голова. Бедные наши соседи — но могу не подивиться их незаметному подвигу! — за целых пять лет моих почти ежевечерних кухонных дудений я не услышал от них ни одного замечания. Мы переехали в эту квартиру вскоре после того, как я стал заниматься музыкой, переехали, покинув дом с оперными ариями, с откровениями взрослой молодежи, рассчитанными только на уши моей матушки, с визитами Киры, с той, всюду утверждающей себя новой меркой жизни, со спорами двух поколений, где я интуитивно поддерживал тех, кто шел впереди меня на лет пять-шесть, — то время в доме, что выходил окнами на канал Грибоедова, на Львиный мостик, кончилось для меня навсегда, и началось другое.

Но я все-таки попытаюсь рассказать тебе о том, прежнем времени — в нем больше истории, больше движения, размаха, оно шло вширь, казалось, что люди щедрее и что ни делается — все к лучшему.

Жили мы, стало быть, в квартире одного из отцовых братьев, до того пожив в квартире другого, и мне придется объяснить, почему за один год мы поменяли две эти квартиры, расположенные в одном доме через два подъезда, чтобы потом окончательно съехать и поселиться в своей собственной комнатухе, не дожидаясь, пока нам дадут квартиру, после чего ее не дадут

еще много лет. Я должен, дорогая, рассказать о братьях отца — иначе, боюсь, у меня не будет для этого повода.

Теперь, когда они, как и мой отец, умерли и почти ничего не осталось от той жизни, я испытываю какую-то обиду на время, которое безразлично к прошлому и, не оглядываясь, идет дальше, хотя то, что оно так спокойно оставляет за собой, имело же ведь какой-то смысл, и наверняка ничуть не меньший, чем теперешний. В лучшем случае настоящее равно прошлому и будущему, потому что оно проходит через них, но для нас оно непонятней, так как раздроблено, раскадровано, и эту кинолентку некому нам прокрутить. А прошлое целостно — в нем работает наша память и наша надсадная жажда истины. Целостное ощущение настоящего дает только музыка, но сейчас разговор о другом.

Я не буду рассказывать тебе всю историю моих дядьев, ибо, начав с их детства, я не смог бы обойтись без рассказа об их отце, моем деде, который умер так давно, что даже веяния его жизни не донеслось до меня, хотя я многое о нем знаю, а до него надо было бы поговорить и о прадеде, о котором у меня есть в запасе две-три легенды да несколько фотографий. Повторю только: люди они были простые, крестьянского сословия, хотя кто-то из четырех братьев деда выбился в служащие по казначейскому ведомству, а один из них каким-то образом стал чуть ли не первым на Руси водителем автомобиля, на котором выезжал Николай Второй. Честолюбие же третьего зашло так далеко, что он, говорят, прошерстив все родовые книги, доказал дворянское наше происхождение, и быть бы ему дворянином, когда бы не две революции семнадцатого года, сделавшие не только бессмысленными, но и опасными его амбиции.

Бабушку свою я тоже никогда не видел, хотя наши жизни, пусть недолго, на расстоянии, соприкасались, она даже держала в руках мои фотографии, присылаемые ей моей матушкой, на них я так и не перешагнул двухлетнего возраста, потому что в сорок четвертом, сразу после снятия блокады, она умерла, потеряв сначала память, а потом способность двигаться и говорить; чтобы не дать умереть своим ленинградским внукам, она во время блокады варила мыло, обменивая его на базаре на харчи, — внуки ее были детьми среднего брата моего отца, бывшего чекиста, того, что воевал в штрафных ротах, каковыми ему заменили ссылку. Штрафником он участвовал в поимке немецкого генерала, после чего был прощен окончательно, хотя, провоевав до мая 1945 года, так больше и не вернулся в ЧК, предпочтя должность коммерческого директора в каком-то строительном тресте.

Это был человек патологического бесстрашия — конкистадор и авантюрист, — и если подобная жилка у моего отца уравновешивалась широтой души и природной добротой, то средний его брат не был ни широк, ни добр, а потому беспощаден в своей неистовой целеустремленности. Из таких людей, как говорил поэт, и делались, видимо, гвозди.

Он рано женился — им с женой едва исполнилось по семнадцати — и вскоре стал тяготиться брачными узами, за что, зная его мятежную натуру, вряд ли стоит его осуждать. Но это сделало несчастной его жену — хотя я запомнил ее веселой, молодой, красивой, она красиво курила, любила танцевать, хорошо одеваться, любила застолье, мужское внимание — да и кто всего этого не любил в послевоенные годы, когда те, кто прошел через войну, попали как бы на праздник жизни; радость лилась рекой, будто только смертью, ценой нечеловеческих мук можно было прийти к веселью, такому бурному, что почти на грани слез. Мы, мало что испытывшие, никогда не будем так веселы, как они.

Умерла она через несколько лет после того, как я ее видел в последний раз, — сначала у нее удалили обе груди, говорят, у нее было очень красивое тело, но метастазы проникали все глубже и глубже... Могила ее на Охтинском кладбище, наверно, сохранилась, но я, потеряв связь с ее детьми, вряд ли сам ее найду. А несколько лет назад мне вдруг позвонили из издательства, готовящего сборник о картографах Ленинградского фронта, и спросили, есть ли у меня ее военные фотографии. Я объяснил, что меня, видимо, спутали с ее сыном, но даже телефона его я дать не смог. Не знаю, вышел ли сборник и есть ли в нем боевая фотография моей тетки — старшего сержанта картографической службы, но это, дорогая, лишь еще один пример того, как мало мы знаем о тех, кто был до нас, и что они сделали, прежде чем мы научились делать что-то свое в свой черед. Меня, признаюсь, все больше мучает наша беспамятность — и не столько потому, что как

художник в некотором смысле слова я тоже хотел бы вырвать у забвения и смерти кусочек памяти и бессмертия, сколько потому, что в нас сидит неизвестно откуда взявшаяся спесивая пренебрежительность к бывшему до нас, — мы почему-то видим себя на несколько ступенек выше, чем наши родители и родители их родителей. Кто в нас вдолбил эту вульгарную схему? Ведь собственное прошлое нам кажется немного лучше, чем собственное настоящее. А что, если люди умели всё немного лучше, чем умеем мы, и были лучше нас уже потому, что были веселее?

Не знаю, как мой дядя пережил смерть жены. Помню слезы своей матери, письма моей двоюродной сестры, которая вместе с братом пережила блокаду, — это их выхаживала моя бабушка, в то время как ее сын вытаскивал из машины слегка помятого взрывом немецкого генерала, от которого шел кокетливый запах французских духов, в то время как моя тетка, выбежав за порог штабной землянки, подставляла цветные от карандашей пальцы хлопьям первого снега и беспричинно, одной своей молодостью была счастлива. Не знаю, как ее похоронили, — мы жили тогда далеко от Ленинграда, но через три года дядя назвал своей женой другую женщину, с которой мы так никогда и не установили отношений достаточно прочных, чтобы принять участие в ее судьбе. Он ее долго не приводил в эту квартиру, где снова поселились мы, как еще в сорок седьмом — сорок восьмом годах. Квартира казалась мне огромной и прекрасной, она была устлана коврами, каких стало много после войны, как и всяких других необыкновенных вещей: часов, занавесок, вазочек и посуды, настенных гобеленов с пасторальными пастухами и пастушками и, помню, поражавших меня салфеток, набранных из крупного цветного бисера. Я никогда не спрашивал, откуда эти вещи, но все они распространяли вокруг себя ауру другой — не нашей — жизни, другого — не нашего — довольства, другой — неведомой нам роскоши, другой праздности, потягиваемой со вкусом медленными расчетливыми глоточками...

Все, о чем я рассказываю тебе, я, конечно, не мог тогда облечь в слова, но в свои пять-шесть лет я почему-то навсегда запомнил тот завезенный в послеблокадный, изъезженный бомбежками и обстрелами Ленинград чужой заматерелый уют, так и не согревший, как потом выяснится, этой не слишком просторной квартиры, тоже на канале Грибоедова, разве что чуть дальше от Львиного мостика.

Помню морозец 1948 года, и расписанные узором стекла, и вид на садик, что примыкал к тылу бывшего Юсуповского дворца. Я с двоюродным братом моим Мишкой — ему уже лет десять, у него тонкое девичье лицо и лукавая, доставшаяся от матери улыбочка, улыбка гобеленного пастушка или слегка порочного фавненка, — я с ним кручусь возле этих перенесенных из летней лесной дремы на оконное стекло, вымерзших до серебряного звона растений, протаивая в них глазки в законный мир. А потом брат берет расческу, накладывает на нее ленту звонкой папиросной бумаги и, прижав к губам, заводит разлюбимейшую нашу мелодию, под крылом которой идет мое послевоенное детство: «То березка, то рябина, куст ракиты над рекой, край родной, навек любимый, где найдешь еще такой... Детство наше золотое, наш (какой-то там, видимо, «родной, любимый») дом, под счастливою звездой мы живем в краю родном». Она и в самом деле счастливая — красная эмалевая звездочка на фуражке вернувшегося с фронта отца, и еще две — большие, темно-вишневые, на кителе, в потемневшей, будто от порохового дыма, оправе металла, и еще одна — на Спасской башне Кремля, которой я заканчиваю все свои рисунки. Счастливый, я выпрашиваю у брата расческу и, придерживая двумя пальцами полоску хрусткой бумаги, прижимаю к губам. Любимая моя мелодия — она получается у меня ничуть не хуже, — правда, она чуть щиплет, покусывает, щекочет губы, будто насмехается надо мной, но я, стерева тыльной стороной руки ее невыносимый зуд, снова дую и пою, пою, дуя в расщелины расчески, не подозревая, что, может, сюда и восходит черная дудочка с серебряной аппликацией, теплый острый язычок трости, от вибрации которого однажды родится чуть меланхоличный пастуший звук моей подростковой музы...

Какие-то немыслимые коньки «снегурки» с закрученными, как на новогодних открытках у ненашего Деда Мороза, носами — они тоже ОТТУДА. Они мне, конечно, велики, но валенок все же не проваливается между опорами: привязав к ним по веревочной петле, я закручиваю петли на палочку и выскакиваю на улицу. Морозит, в воздухе стоит, вернее, медленно плывет наискосок, переливаясь, серебряная пыльца, блестит накатанная пешеходами и редкими машинами улица Декабристов, я, истово размахивая руками, как настоящий конькобежец, лечу к Театральной

площади — влево, вправо, влево, вправо — а на самом деле вперед; вот он, Мариинский театр, где я скоро увижу и услышу, скорее услышу, «Лебединое озеро» с тем самым соло гобоя из Адажио второго действия; уже отстроен разрушенный прямым попаданием снаряда флигель театра; Мариинка, темно-зеленая, с белыми контурами огромных своих окон, не очень красивая, тяжеловато-приземистая, но мне-то скоро откроется ее сумеречно-вишневое золотистое нутро с голубовато-парчовым головинским занавесом, — Мариинка тоже плывет наискосок в серебристых блестках, я огибаю ее, размахивая руками, — влево, вправо, влево, вправо. В Крюков канал сбрасывают снег, и в припорошенной серебром снежной куче оранжево горит корка апельсина — кто тот счастливчик, что отведал его? — я заглядываю в темный высокий проем, куда вносят огромное, грубо размалеванное пыльно-серое полотно, каким-то волшебством превращающееся по вечерам в бездонную даль неба, в гладь озера, — все тайна, все чудо, и все это ждет меня, хотя я еще точно не уверен, что стану музыкантом, потому что есть еще авиация, и я рисую над Спасской башней самолеты с такими же красными звездами.

В этой же квартире мой брат Мишка вытаскивает из-под дивана огромные, черные, выгнутые, как рессоры, альпийские лыжи, но на лыжах этих по причине их ни с чем не соразмерной величины катается только дядя, отправляясь в ночь на воскресенье на охоту с прекрасным, инкрустированным по прикладу и ложе перламутром охотничьим ружьем.

Через семь лет мы снова окажемся в этой сильно поблекшей после смерти хозяйки квартире, и те же самые вещи будут умирать одна за другой — повытрутся улыбки пастушков и пастушек, а бисерные коврики расползутся, и цветными бусинками будет играть новый ее обитатель — рыжий могучий кот Васька. Мне захочется его подразнить, и он поначалу недовольно заберется под диван, но я встану на корточки и засуну в щель между полом и краем дивана свою глупую, назойливую физиономию — и в следующий миг с громким шипеньем, будто разом вспыхнул целый коробок спичек, на меня вылетит яростный комок, который, прежде чем я успею отдернуться, многожды и в разных направлениях располосует мою физиономию, что на всю жизнь сообщит мне смешанное чувство симпатии и опаски к этим животным, про которых никогда не знаешь, что у них на уме.

Здесь же у меня однажды пошла носом кровь, и я, опустившись на корточки перед диваном, смотрел, как она падает большими густыми каплями, падает, не кончаясь... Она шла бесконечно долго, а я глядел на нее, отогнув угол ковра, чтобы она не подтекала под него, глядел в каком-то оцепенелом очаровании, как выходит из меня жизнь, ожидая, выйдет ли вся, и размышляя, что тогда будет, — и была только замороженность исследователя — ни страха, ни желания превозмочь свое тихое — капля за каплей — угасание, превращающее меня в липкую теплую лужицу, пятно от которой долго оставалось на паркете, если кто-нибудь случайно сдвигал ковер, — и возле этого несмываемого пятна моей так и не свершившейся смерти Васька всегда задерживался, припадал на передние лапы, вздыбливал шерсть на хребте и тревожно мяукал своим узким, кувшинным, глазурированным горлом.

...Дядя, дядя. Куда делась его не ведавшая барьеров эпикурейская любовь к жизни, во что воплотилась, каким облаком стала? Вернулась ли в землю благодатным дождем или развеялась, разодралась в клочья в позднюю осень о сырые ветки побережья? Где его необремененная запретами любовь к женщинам, что случилось с ними, кто они были, любили ли его, а если любили — за что? Помню этого еще не старого сатира крадущимся с табуреткой по коридору к кухонной, сверху остекленной двери, за которой, нагрев на газовой плите воду, моются по старинке — в больших тазах — моя матушка и его взрослая дочь; помню его мягкие, кошачьи, Васькины, движения, несколько неожиданные для этого в общем уважаемого мною солидного человека, его похотливую пластику, изощренность ловеласа, неслышно, с внушающей страх устремленностью ставящего, чтобы ни одна половица не скрипнула, табуретку, ужом вползающего на нее, чтобы, стремительно выпрямившись во весь рост, жадно запечатлеть скромный вариант Серебряковской «Бани». Помню вынужденно кокетливый вскрик моей пуритански воспитанной матушки, гневный взвизг дочери, похохатывание довольного дядьки — все это просто шутка, ну да, грубоватая, солдатская, и вовсе не она приведет к ссоре и разрыву, не она.

Под Новый год меня отправят за елкой, и, промотавшись полдня по облезлым елочным базарам, я по чьему-то совету окажусь, выскочив из электрички, на какой-то загородной станции

по Витебской железнодорожной ветке, где перекупленными елками торгуют цыгане, — но мне жаль станет тридцати рублей, хотя у меня ровно такая сумма, и я вернусь домой с пустыми руками — и только тут, выслушав все, что обо мне думают, особенно моя старшая двоюродная сестра, я с горячей волной сожаления вспомню ту стройную елку, которую, зарабатывая на ней всего один целковый, будет предлагать мне пожилая замурзанная цыганка.

На следующее утро мы отправимся за елкой уже вместе с сестрой — и удача нас будет ждать на подъездных путях Витебского же вокзала, где, смачно отдуваясь, прокатит мимо нас паровоз, и с него в снег, перемешанный с угольной пылью, полетят одна за другой две пышные зеленые красавицы. Одну, чуть не на лету, подхватит какой-то подросток, ко второй первым из бросившихся со всех сторон покупателей подбегу я. Она будет в самый раз — под стать нашим высоким потолкам — стройной пышностью, веселой колковатой молодостью своей затмившая вчерашнее некупленное деревце, — тут же подоспеет соскочивший с тендера кочегар, и мы отдадим ему те же самые тридцать рублей, которые сегодня кажутся мне баснословно небольшой платой.

...Как мы несли ее через весь город, держа лежамя над тротуаром, как она вздыхала в такт нашим шагам всей своей пышно-перистой грудью... и как все завистливо любовались ею и спрашивали, спрашивали, где мы ее достали в тот почему-то безъелочный, замороченный канун Нового года.

Мне двенадцать лет, а после боя кремлевских курантов, за которым последуют хлопки шампанского и вскрики взрослых, словно им в радость прибавлять к своей жизни еще один год, после боя мне станет тринадцать, и я в первый и последний раз в своей жизни тайком распакую серебряную хлопушку с верхней ветки, никак не ожидая, что вместо чего-то неведомо прекрасного под фольгой откроется полая картонная трубочка, цилиндр, из одного отверстия которого в другое необратимо уходило мое детство.

У моей взрослой двоюродной сестры злое, птичье личико, она учится в строительном техникуме и живет уже больше вне дома, а брат — еще девятиклассник, и у нас с ним вроде бы общие интересы. Он все время что-то мастерит, и я становлюсь его подмастерьем. Он приносит книжицу о том, как делать своими руками электромоторы из баночной жести, и я открываю для себя новые слова: статор, ротор, коллектор — до кровавых мозолей режу домашними ножницами консервные банки и впервые в жизни держу в руках паяльник, обмакивая его сначала в канифоль, а потом в кусочек олова. Потом я делаю обмотку красивой тонкой проволокой — но не помню результата, не помню, чтобы моторы мои крутились: где-то на последней стадии что-то умирало внутри, и уже никакое электричество не могло оживить их. Зато брат, сразу взявшись за самый трудный в этой книжке вариант, где ротор делался, как заводской, из наборных металлических пластинок, довел-таки этот адский труд (пластинки — сколько их там требовалось сотен? — вырезались вручную кровельными ножницами из кровельного железа), довел-таки его до конца, и однажды в квартире взревел двигатель, отчего во всех лампочках резко упал накал — но мотор работал, победоносно искря, пожирая все отпущенное комнатам напряжение, — оставалось только подключить его к чему-нибудь и извлечь пользу, но об этом в книжке не было ни слова, будто авторы втайне и сами мало верили в успех предложенного ими предприятия, так что и его ждала судьба моих недоделок — пылиться где-нибудь на дальних антресолях.

«Зачем ты, все это рассказываешь?» — наверняка спросила бы ты, если б я и в самом деле погрешил против молчания. Я и сам толком не знаю. Может, затем, чтобы то ли себе, то ли тебе, то ли всем вокруг объяснить, почему я не стал техником, инженером, как мой брат, почему не создал своими руками ни одной материальной ценности. Видимо, во мне сидит, и ничто не может ее выбить, потребность оправдания перед теми, кто занимается в этой жизни физическим трудом, видимо, это говорит во мне кровь предков-землепашцев, которые наверняка махнули бы досадливо рукой, узнав, на что тратит силы их отбившийся от дел насущных потомок.

И все-таки, помню, в детстве я вырезал, строгал, мастерил лучше своих друзей — у меня были лучшие луки, кинжалы, сабли и автоматы... не закончив свой электромотор, я сделал самолет. Это был планер, летающий от толчка руки, как летают бумажные самолетики, но он был несравненно больше, размашистей, тяжелее — как тот грузовик в витрине магазина, он выдерживал где-то

между крыльев, оклеенных по элеронам (какое слово!) папиросной бумагой, на фюзеляже некоего человечка, посланца моего воображения, меня самого, — я посылал его в полет с горки в том садике, что выходил решеткой на улицу Декабристов; стояла поздняя осень, сад был гол и черен, и только мой планер белой птицей плавно парил между черными стволами лип, будто чья-то прощающаяся с телом душа. Там он и погиб, ударившись крылом о ствол, — раздался как бы хруст костей, и все было кончено. Странное зрелище ждало меня, когда я подбежал: крыло переломилось пополам, элероны торчали сквозь плоть бумаги сломанными ребрами, фюзеляж треснул, хвост валялся в стороне... Я поднял самолет за крыло, но в следующее мгновение, сам не понимая почему, в каком-то мазохистском приступе бросил оземь и растоптал то, что еще минуту назад было живо и крылато, — растоптал и выбросил в мусорный бак. Больше самолетов я не делал.

...Дядя мой то и дело пропадал по месяцу в командировках, так что мой отец становился отцом сразу на две семьи. Сестра была взрослой, а Мишка еще нуждался в воспитании — и мой отец решил, что воспитателем должен быть он. По утрам Мишка спал богатырским сном набирающего мужественность юноши — да и впрямь он был хорош собой в свои семнадцать лет: стройный, с мощным мускулистым станом, развитым гантелями. Странно было потом, лет через десять, случайно столкнуться с ним на улице — щупленьким, ниже меня ростом... А тогда я смотрел на него снизу вверх, тщетно пытаюсь укротить его могучие разновесы. Так вот, по утрам перед школой, а это был десятый, последний класс, и кончить его следовало хорошо, Мишка никак не мог да и не хотел просыпаться, и постепенно приучил себя и школу к тому, что приходит только на второй урок, пока это не стало известно моему отцу. Тогда он, человек тихий и покладистый, взялся за Мишку с истовостью, похожей разве что на матушкину.

Поднять меня ему ничего не стоило — он просто срывал одеяло, но Мишка — Мишка не был его сыном, хотя после смерти Мишкиной матери отец мой почему-то собирался усыновить его, — Мишка был вторым мужчиной в новом колене нашего рода, он выжил в блокаду, так что занимал по всем этим причинам особое положение.

Бледный от гнева, который он так глубоко подавлял в себе, что становился иезуитски ласковым и нежным, отец стоял перед спящим Мишкой, осыпая его ласковыми, каких я от него никогда не слышал, словами, умоляя, прося и усовещевая, и, казалось, никакая сила не сможет противостоять той беспощадной нежности. Но Мишка еще глубже зарывался в подушку, все слыша, конечно, но изображая ровное дыхание младенца, тогда отец нагибался к нему, начинал гладить по голове, по сильным мускулистым рукам. Помню, я не выдержал этого зрелища и сказал что-то вроде: «Папа, зачем ты?» — и он, словно осознав, что, кроме них двоих, присутствует кто-то третий, оглянулся на меня, и сторона лица, обращенная ко мне, была бешеной, а другая, обращенная к Мишке, — смиренной, и это было так страшно, что Мишка все-таки вскакивал, ни на кого не глядя, — ошеломленный унижением, которое постигало нас троих.

Так я впервые в жизни видел, как один человек побеждает другого ценой умаления собственного достоинства, когда ни одно иное средство не может быть пущено в ход. До сих пор я вспоминаю об этом поединке, особенно когда сталкиваюсь с сокрушительной силой хамства, перед которой интеллигентность обычно пасует.

Собственный отец Мишку нещадно драл, а когда тот вырос и стал сильнее, отвернулся от него, не возложив на сына ни малой толики своего честолюбия, невоплощенных надежд, — отвернулся навсегда, как отворачиваются от неуютного куска прошлого, — и было в этом жесте презрение к собственной смерти и бессмертию своего семени, потому что главным для него было его собственное время, его собственная жизнь.

Нет, я все-таки не буду рассказывать о скандале, в подробности его, дорогая, мне тяжело вдаваться, ты и так можешь себе представить, сколь много поводов для него рождалось в стенах этой скудеющей обители; хотя хорошо помню длинный, часа на полтора, список обвинений, которые надсадными голосами муки и страдания бросали друг другу моя матушка и моя двоюродная сестрица, где главным упреком был упрек во взаимной неблагодарности, причем обе все время были заняты чем-то, переходя из комнаты в комнату, хватаясь за первые попавшиеся

вещи со слепыми, искаженными жаждой справедливости лицами и выкрикивая в раскрытые настежь двери очередные порции приспевших аргументов.

Став взрослым, прокаленным в семейных, бытовых ристалищах, я, дорогая, склоняюсь на сторону матушки в тех, как ты говоришь, «разборках», которые мало-помалу ослабляли наши родственные узы. Думаю, матушка была по преимуществу права в своем счете двум семьям, созданным младшими братьями отца, которые привыкли рядом с ним прощать себе большее, чем всем остальным. Хотя самый факт существования счета к тому, с кем приходится жить рядом, меня, откровенно говоря, удручает. Не справедливей ли брать ровно столько, сколько дают, а. самому давать просто так, без ожидания ответного добра, разве что с единственной, хотя и непрочной надеждой, что отданное не обратят тебе же во зло.

#### 4

Пора мне вернуться в музыкальный класс к своему преподавателю Евгению Афанасьевичу — он набивает ваткой очередную «беломорину», чтобы смягчить, профильтровать то ли горлодерный табак, то ли память о радикально-назидательном времени всеобщей стройки, духовых оркестров и красного кумача с осыпающимися на ветру белилами лозунгов; лозунги были прямой музыки, но все же он выбрал именно ее, или эта она его выбрала, выдернув прямо из золотушного беспризорничества в набирающий скорость агитвагон. О прошлом помнила и Дора Львовна, наш концертмейстер, под комнатный, тюлево-занавесочный аккомпанемент которой я выдувал свои первые кларнетовые пьесы. Потеряв мужа, она и через семь все переживших лет предпочитала ни о чем не иметь своего собственного мнения, ну разве что о моей игре, когда я случался поблизости.

От нее первой я услышал подлинную оценку моих исполнительских поползновений — оценка настолько не совпала с поощрительным слушанием моего учителя, что, видимо, прежде времени пробудила во мне самоедство, опасное для того нестойкого возраста.

— Не гудите в ухо, отойдите подальше! — умоляюще оборачивалась она с гримаской почти физической боли на своем аккуратном бело-розовом личике, мало постаревшем с той поры, когда в консерватории прочили ей иное будущее, разбитая мечта о котором прочитывалась в чуть надменно поднятых бровках и в привычке долго усаживаться перед роялем на жестком вертящемся стуле.

Мне еще предстоит задать себе вопрос — почему они преподают в средней музыкальной школе, разве они, как я сейчас, не хотели быть великими? Что им помешало? Значит, они были недостаточно талантливы, трудолюбивы? Я не знал тогда, как не знал еще долгие годы, что талант должен быть помещен в мощную оболочку характера, что нужно быть боксерски невосприимчивым к ударам судьбы и даже их обращать себе на пользу. Стойкость — вот самое главное качество таланта, да это он сам и есть, стойкость и сверхъестественная воля. И еще талант — это, конечно, ощущение, что ты не такой, как все, и что тебе есть что сказать, потому что другие говорят о другом, и пока ты молчишь, твое не видно и не слышно, и его зияющее отсутствие в мире делает тебя несчастным и одиноким.

Нужно сказать, что в скором времени кларнет стал менять мой образ жизни — у меня не осталось времени для друзей, для двора, да и дворов, тех дворов детства, что знал я раньше, тоже не осталось. В общеобразовательной школе знали, что я занимаюсь музыкой, но поначалу прежнее представление обо мне сохранялось — какое-то время я был даже председателем совета отряда, но, никак не проявив себя, был тихо и незаметно переизбран. А музыкой школу было не удивить. Помню какую-то девочку из старшего класса, окруженную толпой слушателей в нашем темненьком спортивном зальчике, пианино, из которого она извлекала оплетенную аккордами, папахивающую степью и расцвеченную беспредельным степным закатом волшебную мелодию, — она и по сию пору сохранила для меня свой аромат, — это была песня половецких девушек из «Князя Игоря»...

И все-таки наступил и мой черед, когда перед каким-то праздником в пионерской комнате впервые собрался школьный квартет под громким названием «джаз-ансамбль». Были у нас

барабан, гитара, пианино и кларнет. Помню только пианиста — шустрого и плутоватого Виталика Могилевского из девятого класса, не вышедшего ни ростом, ни умом, но фантастически самоуверенного, — он и взял на себя подготовку нескольких пьесок, командуя нами, как в какой-нибудь частной лавочке. И мы, я в том числе, еще музыкант-аматёр, за год постигший только самые азы музыкальной грамоты и музыкального исполнительства, слушались его, привязанного ремнем к инструменту с шестилетнего возраста. Невероятная вертлявость не позволяла ему оставаться за пианино более трех минут, и все же Виталик на лету схватывал любую мелодию и, свесив на плечо свою узкую чубастую голову, быстро лепил пьеску всеми десятью пальцами, придавая, впрочем, ей не тот благородно-невинный на грани ожидания и чуда характер, как это удавалось старшекласснице, а — развязно-разбитной, с идиотской ухмылочкой, который господствовал тогда на нашей музыкальной эстраде.

Но героем вечера, на котором мы выступали, стал не Виталик, а я. Раздались первые, снисходительно выслушанные Виталикины аккорды, протрещал барабан, тренькнула гитара, и я поднял свой кларнет. Кажется, я играл «Темную ночь», свое первое концертное соло, после которого половина девочек, оставшихся на танцы, отдали мне свои сердца.

В тот вечер я купался в лучах славы, став, как это бывает с робкими и застенчивыми, если сбить их с привычной колеи, чванливо-развязным хвастуном, кокетливым бахвалом, что и сейчас вызывает у меня стыдливый смешок, особенно как вспомню, что, танцуя с одной девочкой, я подмигнул другой, восхищенно на меня смотревшей, — так жуирует первый красавец, герой-любовник, опереточный баритон, если и пресытись, то ровно настолько, чтобы не утратить счет устремленным на себя взглядам...

Но рядом звучала иная музыка — я слушал оперы. Не знаю, кто решил, что мне надо начинать с музыки зримой, конкретной, сопровождающей драму, то есть выражающей ее, но все же нуждающейся в поддержке, именуемой сюжетом, но я прослушал все оперы в том возрасте, когда в отсутствие житейского опыта можно легко, без потерь переноситься на сцену, превращаясь поочередно в Фауста, Мефистофеля, Хозе, Риголетто, Онегина, Германа... Только зрелым человеком можно вернуться к опере, которая считается классической и в которой на сценическую часть принято закрывать глаза. Условность оперного действия требует для полного приятия или абсолютного невежества, или абсолютного профессионализма.

Итак, по несколько раз в неделю я пропадаю в Оперной студии консерватории. Первая жена отца, Маргарита Яковлевна, проводит меня в бельэтаж мимо здоровающихся контролерш и оставляет в теплом сумраке начинающейся увертюры... Я вижу внизу, в яме оркестра, белые освещенные крылья нотных партий — замершая стая птиц в черной проруби, — только затем я различаю подвижность этой черноты, углы пюпитров, силуэты музыкантов, всплывают лица, обращенные в мою сторону, — это альты, группа медных, за которыми палачом в черном маячит над котлами литавр ударник, — всплывают могучие шевелюры и проплешины первых и вторых скрипок, виолончели, зажатые раскоряченными коленями, золотая бутафория арфы, а посередке, в два ряда держатся деревяшки — флейты, гобои, кларнеты, да два нелепых водосточных фгота, — на них всегда играют почему-то такие же длинные, худые и кадыкастые... А вот и дирижер, его различаешь в последнюю очередь, перед ним опущенная в лоно света возлежит партитура, над нею, над всем оркестром висит дирижерская палочка, и первое ее движение вызывает звуковую, надрывающую сердце волну.

А потом, когда отзвучит увертюра и откроется занавес, в зал хлынет ни с чем не сравнимый таинственный запах сцены — запах пыльных декораций, краски, сухого дерева и столярного клея, запах пропитавшихся тьмой колосников, запах ночевавших там задних планов, запах костюмов и женский запах толпы — духи, пудра, первый легкий пот волнения... у меня у самого взмокли руки, а по спине пробегают мурашки, еще немного — и я умру перед лицом этой невыносимо прекрасной, так рано открывшейся мне жизни.

Три оперы определяют мои тогдашние вкусы: «Фауст», «Кармен» и «Евгений Онегин». «Онегин» — прежде и сильнее всего. Он совпал с моей первой мечтой о женщине, о женском — и мечта эта, далекая от взыскующей маэты Фауста и надрывно кровотокающей страсти Хозе, узнала себя в ариях Ленского, Татьяны, Онегина, — она была такой русской, эта мечта, в сени осеннего

парка, где встретились Татьяна и Евгений; среди колонн дворянского особняка, обличьем своим напоминающего знакомые мне залы Ленинграда; в сцене письма Татьяны я сам писал письмо кому-то, да что там темнить — Кире, конечно; ее плечи, шею узнавал я в Татьяне, глядя, как ненароком чуть сползает с плеча ее сорочка, когда она наклоняется над письмом, а в арочном — тоже таком знакомом! — окошке все синее наливается рассвет, обещая что-то и мне... Я узнавал в оркестре голоса деревянных инструментов, их задушевную беседу, их чуть провинциальный говорок, крестьянский акцент пастухов и землепашцев — казалось, это голоса моих предков переселились в дудочки и обращаются ко мне, рассказывая о треволнениях своих минувших жизней, о своих надеждах, часть из которых, видимо, все-таки сбылась.

Помню, как, очарованный, вывернутый наизнанку, обращенный к действительности своей нежнейшей цветочно-лепестковой замирающей сутью, влетел я после оперы в класс Маргариты Яковлевны за своим пальто, и она впервые посмотрела на меня не с тем корыстно-ревнивым интересом, с каким смотрят на чужих детей некогда близкого человека, а как-то иначе; она промолчала, но удивление на какие-то мгновения перебороло все остальные чувства на суховато-эгоистическом, холодно-любезном ее лице, удивление профессионала, разглядевшего в начинающем подмастерье проклюнувшееся зернышко.

Обычная школа еще остается центром моих столкновений с действительностью, там все мои неприятности, там мусор неправильных поступков, там мои грешки и страхи, учусь я неплохо, но на одном из родительских собраний наша новая классная воспитательница выносит мне тяжелый приговор — я высокомерен и надменен и ставлю себя выше окружающих, хотя у меня для этого, судя по моим отметкам, нет никаких оснований — приговор этот звучит из уст молодой, с античным мраморным лицом и горящими темными глазами математички, ее внешность портят только непомерно развитые клычки, в толкотне за место с другими зубами вытесненные вперед, отчего математичка почти не улыбается, и такой мраморно холодной она мне очень нравится, так что приговор ее тяжек вдвойне, — тяжело и моему отцу, который на родительском собрании выслушал его в присутствии тридцати других родителей, но, вернувшись домой, он все-таки ни словом не обмолвился о случившемся, хотя я почувствовал, что что-то произошло. «Мне сказали, что учишься ты нормально», — только и сказал отец, решив про себя какую-то сложную педагогическую задачу, и о содержании математичкиного выступления я в искаженном двумя (родители — дети) злорадными пересказами виде услышал только от своих приятелей.

До сих пор мне не дает покоя то отцовское умолчание — пожалел ли он меня, или и сам разглядел во мне что-то, рассудив, что все неглавное со временем отпадет, отшелушится, отомрет и нет смысла проявлять излишнюю воспитательскую ретивость, освобождая зерно от плевел, когда оно еще столь слабо, не набрало силы, потому что в самих этих плевелах есть еще жизненные соки, необходимые ему.

Дорогая, упрек в надменности я потом еще не раз услышу от разных людей — иногда это будет справедливо, как, например, в юности, лет в семнадцать-восемнадцать, когда я и впрямь решу, что я — гений; чаще — несправедливо, потому что по сути своей я человек, склонный к самокопанию, более того — к самобичеванию, я охотно беру на себя вину, и если в кругу ли, в строю ищут виноватого, у меня начинают гореть щеки и уши; с годами я все больше чувствую эту вину, будто каким-то образом проступки других — это результат моих неправильных мыслей и действий; но при этом по-прежнему, чаще от людей неумных и недобрых, я слышу все то же обвинение. Я хочу, чтобы хоть ты поняла, что надменность моя — это всего лишь маска, хитиновая защитная оболочка, дабы прикрыть чересчур мягкотелую, болезненно впечатлительную и, увы, легко уязвимую суть.

«Почему ты такой наивный?» — не то гневно, не то удивленно, во всяком случае, недовольно спрашиваешь ты. Откуда я знаю. Рядом с тобой я себя чувствую провинившимся мальчишкой. Ты этого хотела?

Мне придется рассказать тебе несколько историй о моих приятелях-кларнетистах, дабы убедить тебя, что в душе своей (я исключаю тот тупой семнадцатилетний взбрык, который, видимо, тоже был нужен для отметки на шкале собственной глупости), что в душе я не считал

себя выше и лучше других — разве что ДРУГИМ, не таким, как все, как каждый. Скажем так — я ощущал себя отдельным, а это-то и принимали за спесь.

Конечно же, я был не один. Нас соединял оркестр, симфонический оркестр школы, а кроме того, музыкальный класс, когда, придя немного раньше времени и кивнув Евгению Афанасьевичу, я смиренно дожидался, пока доиграет другой его ученик. Я их всех хорошо помню, а один из них играет в моем оркестре — в оркестре наберется еще человек десять, с кем я сталкивался в школьных коридорах. Так вот, ребята эти не давали мне и дня упиться собственной исключительностью — каждый из них был в чем-то талантливей меня, а все вместе они и сделали, сами того не подозревая, так, что в семнадцать лет я было бросил кларнет, думая, что навсегда. Но об этом позже.

А пока я слушаю, как играет Валерий Беспалько, девятиклассник из смежной с нашей школы-десятилетки, и мне кажется, что я никогда не достигну такой легкой, изящной, воздушной моцартовской техники. Правда, звук его кларнета, хотя и красивый, сочный, но какой-то зажатый, звук слишком узкого горлышка, камерный, негромкий, и ведет он себя так, как я, наверно, не веду, — морщится, гримасничает, сопровождая лицом каждую мелодическую фигуру, при этом раскачивается, гнется в пояснице, приседает на напряженных ногах, и пальцы его, даже незанятые, тоже все время совершают как бы слегка патологические движения — без дудочки это юный сумасшедший, а с ней — музыкант, к тому же он хорош собой, высокий, бледнолицый, с тонкими, мягкими чертами, спутанные тонкие его волосы кудрявы, как у Антона Рубинштейна на репинском портрете, что висит в консерватории. Он станет потом лауреатом международных конкурсов, его возьмут в филармонический состав, там мы и встретимся спустя много лет; он не узнает меня, пока я сам не подойду и не назову нашего общего учителя.

Удивительно, что Евгений Афанасьевич как бы не замечал вдохновенной игры своего талантливейшего ученика, что-то ему не нравилось в его манере, и он одним глазом косил на меня, призывая в насмешливые свидетели своей правоты. Но в то же время мой учитель имел удивительное свойство поддерживать именно тебя, и не в ущерб другим, а в упоре на твои собственные, другим не данные достоинства. Моим достоинством, по его убеждению, был широкий открытый звук и эмоциональная выразительность — отставал я в технике и в чтении с листа: вещах, с его точки зрения, пока второстепенных, наживных.

Но был и другой юноша-подросток, с техникой феноменальной, со звуком ясным, чистым, прозрачным, исполненным врожденного благородства, классическим звуком, похожим на картины Энгра. Он был одержим кларнетом и, кажется, никогда с ним не расставался, тем более странно, что я впервые столкнулся с ним только через три года занятий, памятью восстановив, что те изумительные, глубокие, бархатные внизу и откровенно мужественные, величавые во второй октаве звуки, льющиеся с чарующей свободой, с не знающей затруднений беглостью, принадлежали именно его инструменту. Да, через три года он уже был готовым профессиональным исполнителем — и то, что, оказывается, мы начали с ним заниматься в одно время, прозвучало тогда для меня чуть ли не как приговор.

Евгений Афанасьевич не стал мне объяснять природу этого феномена, только подрагиванием брыластой щеки и не то восхищенным, не то растерянно-осуждающим движением руки дав понять, что об этом не говорят.

Я не помню ни лица его, ни имени — только что он был плохо одет, невысок, широкоплеч и плотен, волосы, прямые, плоские и длинные, носил ровно зачесанными назад по моде пятидесятых годов — зато помню его последний разговор с учителем, потому что в свои шестнадцать (он был немного старше меня) он, постигнув кларнет до предельных возможностей, вдруг резко охладил к нему и теперь собирался уезжать в Москву в школу военных дирижеров. Он, кажется, и стал военным дирижером, но таких дирижеров много, а кларнетистов таких я больше не встречал, и посейчас в Брамсе, Вебере, Чайковском, Рахманинове, я уж не говорю о современных композиторах, раскрывших новые возможности этого инструмента, и посейчас мне не хватает такого кларнетиста.

Был еще Игорь Соколович, как есть он, впрочем, и сейчас в оркестре Малого оперного, где он давным-давно сменил умершего Евгения Афанасьевича, — он взял в руки кларнет года на четыре раньше меня, и потому я как бы отставал от него на эти годы, и если мы играли в оркестре вдвоем, то он, естественно, исполнял первые партии, хотя именно у него-то исполнительство при всей филигранной аккуратности было холодно-незаинтересованным, безучастным: для дирижера, любящего порядок, он был идеален; для лирика, романтика он всегда не добирал нужного градуса чувств. Прошло много лет, а он, кажется, единственный из нас почти не изменился, по крайней мере, внешне: такой же прямой, стройный, с сухощавым лицом американского покроя, Пол Ньюмен, да и только. Он мужествен мужеством ограниченности, впрочем, как ее объяснить, когда он умен, наблюдателен, к тому же прекрасный спортсмен в таком привилегированном и во многом загадочном виде спорта, как теннис, где от игрока требуется вдохновенное чувство пространства...

Единственным равным мне соперником — были, конечно, и те, кто слабее меня, — могу назвать разве что Володьку Михайлова, моего упрямого, занудного конкурента на протяжении нескольких лет. Кларнет его звучал беднее моего, и техника у Володьки была корявой, потому что он занимался гораздо меньше меня и имел обыкновение разучивать домашнее задание за полчаса до урока, но он был от природы музыкальнее и в силу этой ничего не стоившей ему одаренности — много беспечнее меня. Он легче разбирался в нотах, чуя нутром то, что требовало от меня головы, вот почему в оркестре, хоть я и был первым, если мы сидели вместе, но все время оглядывался на него, — только он мог, не считая паузу в тридцать тактов, знать свое, да и мое, вступление. Мне до сих пор снятся мои оркестровые страхи, мне снятся ноты, такты, оркестры, где я играю, снится, как я разыгрываюсь по соседству с залом, разогревая кларнет, как ждут меня, надеясь, что я-то свое дело знаю, — и страх, страх, страх, что не сумею, не попаду, опростоволосюсь, и в снах этих, столь убедительных, я, кажется, при усилении зрительной памяти мог бы восстановить те никем не написанные кларнетовые партии...

Володька прекрасно знал, в чем он превосходит меня, и если на музыкальных диктантах, на сольфеджио, он еще был милостив и мог подсказать, что ему при его абсолютном слухе ничего не стоило, то в оркестровом нашем соперничестве он был неумолим, ожидая, всегда ожидая того момента, когда я завалю партию и рассерженный наш школьный дирижер поменяет нас местами. Это заставляло меня неотрывно считать такты, в то время как Володька откровенно пытался сбить меня своими дурацкими вопросами, а я считал, считал, судорожно хватал кларнет и вдруг останавливался, перехваченный в последний момент Володькиной рукой, — оказывается, я все-таки ошибся на три такта. Он смеялся надо мной.

И все-таки ценой усилий, несравнимых с его усилиями, я оставался первым, и долго бы мне существовать бок о бок с ним, ропща по-сальериевски, если бы он не исчез, так и не поступив в училище, где-то в худосочной речке тогдашней эстрады, где в моде были парные конферансье с концертино, куплеты про торговых начальников и неувядающий, бойкий ансамбль Цфасмана. Но до того, как бы на прощанье и в память о себе, он отнял у меня одно из моих первых оркестровых выступлений, мое оркестровое соло в каком-то детском балете во Дворце культуры имени Первой пятилетки, которое на репетициях звучало у меня широко и раздольно под тихий шелест скрипок, и дирижер благосклонным кивком отмечал мое задушевное старание. На премьеру этого балета пришел мой отец с Маргаритой Яковлевной, еще какие-то наши знакомые, перед началом спектакля все они побывали у барьера оркестровой ямы и покивали мне, — а я сидел внизу важный, надутый и счастливый. И вот за несколько тактов до моего сольного выхода в тишину зала, не переставая облизывать трость, чтобы первый звук вышел чисто, без придыха и кикса, я вдруг почувствовал, что что-то случилось и дыхание мое уходит неозвученным в какую-то пустоту, трещину... Я перехватил кларнет, быстро осматривая всю его изящную механику, пробуя ее пальцами, дирижер повернулся ко мне, заученно плавным, умиленным моей задушевностью движением призывая меня к мелодии, я сунул в рот кончик мундштука, и первая нота у меня не взялась, так же как вторая и третья, а четвертую уже подхватил всполошившийся Володька и, неуклюже плюхая пальцами, на коротком, тусклом дыхании повел, точнее, потащил по камням и кочкам мою песню, в то время как я продувал отказавшие клапаны своего кларнета — у одного из них действительно отвалилась крошечная отверстие подушечка.

Потом мой отец, Маргарита Яковлевна и общие наши знакомые уверяли, что слышали мой кларнет и он звучал прекрасно, — тем страшнее было мое горе.

## 5

В то время у меня была еще одна страсть — коллекционирование, и я бы не упоминал о ней, если бы не чувствовал какой-то смутной ее связи с музыкой, в том смысле, что и эта страсть подразумевала особый мир, который при достаточном воображении вполне мог соперничать с миром доподлинным.

Коллекционировал я монеты, о чем обещал тебе историю. Коллекция моя началась с серебряного рубля 1737 года императрицы Анны Иоанновны, когда я учился еще в пятом классе, вернее, когда приехал на каникулы в Майори. Рубль мне дал мой друг Марик, и я, кажется, так и не спросил, откуда он у него взялся. О пышнотелой этой императрице, хорошо сохранившейся на рубле, в учебнике истории было сказано много нелестного, и вовсе плохо говорилось о ее фаворите Бироне, Виндавский замок которого, как я узнаю через много лет, был не так уж далеко от нас. Но в ту пору я еще не отделял историю от других предметов, потому и воображение уносило меня не столько в прошлое, сколько в ту иную, только предчувствуемую мною реальность, которая зовется мечтой.

Сколько самозабвенных часов провел я над своей коллекцией вечерами, под зеленым абажуром, опершись на зеленое сукно старого стола, со страстью скупого рыцаря перебирая свои сокровища, на которые ничего нельзя было купить — разве только прошлое... Равнодушный к деньгам, я занимался куплей-продажей небытия, в котором толпились виденные то ли в Русском музее, то ли в Эрмитаже странные фигуры в старинных одеждах. У меня были гульден и драхмы, тугрики и левы, пенсы, крейцеры, латы, у меня был доллар Соединенных Штатов Америки и доллар Мексики, у меня были динары, цехины, крузейро, сентавы, сантимы, юани, песо, пиастры, у меня были николаевские полкопейки, у меня были полтинник, алтын, полушка, а также первые советские серебряные рубли — я рассматривал их в лупу, протирал ваткой, смоченной одеколоном, а затем зеленой фланелью, отчего монеты пахли, будто вынутые из карманов, сумок, кошельков, из горячих, запотевших ладоней. А сердцем моей коллекции была монета из чистого золота в пять рублей 1812 года — она досталась мне по наследству от моего деда по отцу, который тоже был страстным собирателем, ее мне отдал отец, когда поверил, что я занимаюсь этим серьезно. Монеты были не только круглые, но и квадратные, многоугольные, с волнистым краем. Наконец, у меня была пачка бумажных денег, которые, несмотря на свою изощренную подкрашенную графику с вензелями и портретами, имели все-таки лишь сомнительное касательство к прошлому, будучи фальшивыми его представителями. В них не было подлинности металла. Взять те же самые керенки, уже самым видом своим выказывающие растерянность перед временем, невладение им.

Настоящие деньги были не только скромны, но в скромности своей как бы величавы. И меня не смущало, что крупные кредитные билеты, эти бумажные тигры, все-таки и заставляли вращаться, обращаться, поспешать время, между тем как мои медно-железно-серебряные россыпи были всего лишь мелкой разменной монетой на перекрестках бытовых мелких нужд — эти-то нужды, эта людская суeta, эта живая потреба в глотке воды, в шнурке для гульфика, в куске сыромятной кожи для заплаты на задку, в цветке для высокой прически, в заколке для волос, в пахитоске, в длинной карамельной тянучке, в поездке на фаэтоне, в хлебной лепешке, — все это и наполняло чудом и очарованием то, чем я владел, и по вечерам, перебирая легким звоном отзывающиеся осколки миновавших эпох, я слышал и сами эти эпохи, и людей, наполнявших их.

Иностранные монеты я помещал в спичечные коробки, русские монеты хранились у меня в школьных чертежных досках, которые я перегораживал внутри тонкими реечками, оставшимися от заготовок для крыльев планера, а дно каждого гнезда выклеивал фланелью. Мне хотелось, чтобы монетам было приятно лежать, отдыхая от своих эпох, своих трудов, предаваясь воспоминаниям, насыщаясь ими во фланелево-фанерной тишине, пахнущей одеколоном или духами, если одеколона не попадалось, и быстросохнущим красноватым клеем «рапид».

Коллекция, о которой я рассказываю, собственно, стала такой после того, как в нее влились сокровища друга моего брата — вернее, когда мои монеты влились в нее, несравненно более крупную и разнообразную. А пока она не стала моей, а только, показанная однажды, жгла мое воображение, я, приходя в гости в ту самую квартиру, куда мы вскоре переберемся, все тянулся в комнату, где мы и будем жить, к старому основательному письменному столу — там, в среднем ящичке, в пестрой деревянной коробке из-под сигар, рассыпью лежал чужой клад. Грешен, я не удержался, чтобы не стянуть оттуда одну или две монетки; видимо, положив таким образом начало своим преступным действиям, я бы все более погрязал в грехе, если б судьба не смилостивилась и не отдала мне в руки весь этот клад, после чего изъятые из него монеты, воссоединившись с остальными, перестали обжигать мне руки и совесть.

Как я уже говорил, подарен мне этот клад был совершенно бескорыстно, как-то легко, просто, одним щедрым движением широкой и вольной, хоть и безголосой, души братова друга. Толчка к этому я не помню — разве что я действительно сказал, что собираю монеты; а может, домысливаю я теперь, от прежнего владельца все-таки не ускользнула моя греховная тяга к среднему заветному ящичку письменного стола... В таком случае мне не остается ничего иного, как преклониться перед его педагогическим гением.

Коллекция жила со мной до моих семнадцати лет, пополняясь скорее случайно, чем планомерно, потому что связи с другими коллекционерами у меня не было, как не было никакой системы в самом собирании. Не знаю, хороша ли была моя коллекция или плоха, — это прежде всего была моя тайна, мой выход через раскрывающуюся щель чертежного пенала в другую жизнь. Но как-то с работы отца ко мне явился подлинный нумизмат — худощавый, со впалыми бледными щеками инженер, веки его были красноваты, как от недосыпа, и во всем его облике было что-то нервически беспокойное, — он довольно долго изучал мои сокровища, то невольно вскрикивая, то взволнованно бормоча что-то себе под нос, хватаясь за лупу и говоря со мной на языке незнакомых мне событий, фактов и дат, — он полагал, что о своих монетах я знаю все. О них я почти ничего не знал да и не стремился к этому. Он так посеял во мне сомнение относительно... нет, не коллекции — меня самого, прощаясь со мной со вздохом человека, испытывающего страдание от сознания, что такие коллекции могут оседать у таких несостоятельных владельцев.

Последнее мое крупное приобретение, купленное за пустяк у школьного хулигана Овсянникова, — памятная петровская медаль в честь открытия каналов Мариинской системы. Уже продав ее за сумму, равную цене поллитровки, он признался, что выкрал ее из коллекции Эрмитажа.

— Как? — не на шутку испугался я.

— Просто, — поняв меня по-своему, сказал он. — Подошел, поднял крышку и взял.

— Там же закрыто, — сказал я, живо представляя себе эти остекленные стенды отдела нумизматики, где протекали мои вожаделенные свидания с монетами.

— Я открыл, — усмехнулся он. — Ключом от почтового ящика.

Так что памятная эта настольная медаль лежала у меня отдельно в потаенном месте, лежала, как бы готовая в любой миг исчезнуть, я ее никому не показывал, прекрасно сознавая, что не имею на нее никаких прав.

И эти сны я вспоминаю — сны, в которых мне принадлежат невиданные коллекции, невиданные монеты, даже не монеты, а памятные знаки, медали, ордена — я их храню в каких-то дорогах, обитых кожей ящичках, за книгами в шкафу, то теряю, то снова нахожу, перекладываю, перепрыгиваю, мучаясь во сне их сокрытой от людей алчной красотой, терзаясь сознанием их величия, избранности, — это раритеты, коими награждали в достославные времена за особые заслуги, и их изощренные формы, сверкание в них драгоценных камней, переливы золота, платины, серебра вызывают у меня тайное чувство вины, которая и есть и которой нет, раз никто никогда о ней не узнает...

Странно, что я вижу такие сны, дорогая. Я вижу их и посейчас — через двадцать пять лет. Видно, они, эти монеты, и взаправду водили меня рука об руку с другими людьми в других временах — кто знает, может, эта брякающая копилка минувшего и была тогда для меня машиной времени.

Коллекцию я утратил в семнадцать лет, после того как, пролежав в забвении два последних года, она вдруг попала мне на глаза и я нехотя раскрыл ее. Теперь это было маленькое кладбище, царство мертвых. Монеты больше не говорили со мной ни о чем, я утратил слух, забыл их язык — это были денежные знаки, изъятые из употребления, и все, что можно было сделать с ними, это найти денежную цену, адекватную им.

Тогда на улице Герцена, за углом, у Центрального телеграфа, в виду арки Главного штаба, открылся вдруг магазинчик для нумизматов. Появись он на несколько лет раньше, сколь ярче, интенсивней была бы моя коллекционерская жизнь — теперь же я с холодным любопытством рассматривал под стеклом витрины выставленные на продажу монеты, прикидывая, на сколько потянет моя собственная коллекция. Сумма получалась внушительная — и вот я понес туда первую порцию монет. Мама меня отговаривала:

— Зачем? Такую ценность, такую красоту!

— Они мне не нужны, — твердо отвечал я. — Мне нужны деньги.

— Ну, как знаешь, — качала она головой, — на твоём месте я бы сначала подумала.

— Я уже подумал, — отвечал я, впад к тому времени в крайний максимализм всех своих суждений.

Оценщиком моих сокровищ был крупный черноволосый мужчина с густыми бровями, с не поддающейся безопасной бритве щетиной, в золотых очках, которые делали его похожим на переодетого в интеллигента карточного шулера. У него были резко очерченные толстые губы, причем верхняя опускалась на нижнюю сладострастным мыском, из крупного носа торчали пучочки волос. Он увел меня за занавеску, в каморку, сел за стол и похожими на толстые морковки пальцами небрежно притянул к себе мою коллекцию. Еще не разглядев ее, он отказал ей в уважении — и в самом деле, что интересного мог накопить этот тщедушный юноша, угрюмый от застенчивости, легко заливающийся краской, избегающий смотреть прямо в глаза собеседнику. Уверенной своей лапой с тяжелым золотым перстнем он поворошил мою коллекцию и, толчком отодвинув от себя, недовольно блеснул золотыми очками. И хотя точно такие же, как у меня, монеты я видел в витрине, в тот миг мне хотелось провалиться сквозь землю.

— Что, не берете? — спросил я наконец.

— Можем взять, — пожал он плечами, — но много не дадим. Все это расхожий товар. Ничего интересного.

Я покраснел до корней волос:

— Это только часть. Обменный фонд. Могу принести гораздо лучше.

— Вот и приноси.

— А эти?

— Что ж, попробуем продать. Но много не дадим. Идет?

— Спасибо, — сказал я.

— Через неделю, не раньше — в кассу, — сказал приемщик. — Раньше не продадим.

Домой я возвращался, пылая от стыда и унижения, но прежде всего — от злости на самого себя. Теперь я знал истинную цену своего прошлого увлечения — оказывается, оно не стоило ничего!

И все-таки я пришел в магазинчик на следующий день — не за обещанной суммой, нет — мне просто хотелось посмотреть, как выглядит под стеклом прилавка моя коллекция, очень ли она проигрывает соседним. К удивлению моему, коллекции в витрине не оказалось, а когда я поинтересовался, тот же самый приемщик, с трудом меня узнавший, буркнул:

— Еще не выставлена.

Мне очень хотелось, чтобы ее выставили наконец, и на следующий день я снова стоял перед стеклянными прилавками. Коллекции не было.

— Продана, — даже не поворачиваясь ко мне, отвечивал приемщик. — Продана, продана, молодой человек. Можешь получить свои деньги.

Деньги полагалось получать в другом месте, в большом комиссионном магазине, и, получая их, ничтожную сумму, я испытывал какую-то смутную, тревогу, или это была просто жалость по так, без последнего прощального жеста покинувшим меня монеткам. Но лиха беда начало — я знал, что мне есть чем удивить приемщика, и я принес вторую, более значимую порцию, где были представлены монеты самых разных стран и времен, за исключением серебра и всей моей русской коллекции, которую я оставил напоследок. Я принес ее в ящичке со спичечными коробками, на каждом из которых были название страны и годы самой старой и самой новой монеты. Австрия у меня, например, начиналась с 1643 года.

— Как я это буду смотреть? — занервничал приемщик, которого звали Ефимом Самойловичем. — Открывай, показывай.

На его глазах я стал открывать спичечные коробки и высыпать в общую кучу тугрики и драхмы, левы и лиры, сантимы и соверены, песо и пиастры, песеты и даймы...

Ефим Самойлович нетерпеливо смотрел на растущую перед ним горку, и лицо его вопреки моим ожиданиям все больше сморщивалось в кислой, скучной мине.

— Все? — спросил он, и я понял, что опять не угодил. — Сколько тут у тебя?

— Триста, — еще не совсем утратив гордость, ответил я.

— По десять коп. за штуку, идет? — сказал он, посмотрев на меня поверх очков.

Я сразу не понял, много это или мало, чувствуя только, что скорее — мало, если учесть пути, которыми шли ко мне эти монеты через века и пространства. Мое замешательство Ефим Самойлович оценил по-своему:

— Ну, по пятнадцать, идет? — И он хлопнул меня по плечу. — Сорок пять рублей — это же сумма! К тому же они у тебя не разобраны, без всякой системы...

Я робко возразил, что принес их разложенными по странам, но он только ядовито хмыкнул, будто имея в виду что-то более существенное.

— Больше дать не могу, — помрачнел он и сделал вид, что встает из-за стола, так что мои монеты, лежащие горкой, жалобно звенькнули.

— Я согласен, — сказал я.

Этой части коллекции я тоже в витрине так и не увидел — может, потому, что появился только на третий день, хотя непонятным было то, что другие коллекции, по словам Ефима Самойловича, более ценные, еще не были проданы — я наметанным взглядом узнавал их. Сорок пять рублей, точнее, сорок с небольшим, за вычетом комиссионных, я получил в тот же день, и,

хотя мое сомнение в правильности происходящего все росло, я решил распрощаться и с тем, что у меня оставалось. Оставшиеся монеты выглядели как бы обездоленными от разлуки со своими братьями и сестрами, и мне невыносим был этот разор.

Русская моя коллекция не то что проняла Ефима Самойловича, но впервые заставила его взглянуть на меня с интересом. Изучал он ее несколько дольше, мне даже показалось, что от некоторых моих экземпляров ему трудно оторваться и что он рассчитывает вернуться к ним потом, в более спокойной обстановке. В этот раз лицо его выражало совсем другие чувства, хотя и несколько неожиданные, — он как бы все более обижался на меня, то ли оттого, что я так долго водил его за нос, то ли по каким другим причинам. Когда он дошел до эрмитажной медали, я вздрогнул.

— Интересно, интересно, — забурчал он, наводя на нее лупу, — довольно редкая вещь, довольно редкая, но в плохом состоянии, молодой человек, дефектная. И выпускалась она не одна, а в серии. У тебя ведь нет серии? Да... за одну много не дашь. Варвара Петровна! — сделал он наклон головы в сторону двери, ведущей из каморки в магазинные глубины.

Варвара Петровна оказалась крепко сбитой женщиной средних лет с прической а-ля Бабетта (был такой фильм «Бабетта идет на войну» с Брижит Бардо), то есть с целым шлемом волос, где верхние начесывались на нижние, взбитые для пышности кустом. По виду своему она, как мне показалось, не могла принадлежать к знатокам нумизматических раритетов, но почему-то именно к ней Ефим Самойлович обратился за поддержкой:

— Если настольная медаль одна, без серии, у нас ведь расценки ниже?

— Гораздо ниже, — готовно ответила Варвара Петровна. Она, верно, была директором.

— Так что вот так, молодой человек, — вздохнул он, почему-то перенося ущербность памятной медали на всю мою коллекцию.

«А серебро?! — хотелось крикнуть мне. — Ведь у меня целых пятьдесят семь полновесных сияющих серебряных монет! А рубль Анны Иоанновны?!»

Словно услышав меня, Ефим Самойлович нехотя выскреб из уютного фланелевого гнездышка первую мою монету и, держа ее передо мной большим и указательным пальцами, назидательно произнес:

— Эта мадам напечатала таких рублей столько, что... — И брови его при этом разочарованно поползли вверх, а углы губ, растягивая мысок, — вниз.

Все было кончено — все они: рубли, полтинники, гривенники, алтыны, полушки, семишники, цену которых я знал по книгам русских писателей, — все они исчезли под его лапой. К тому же в этот раз мой безжалостный оценщик оказался чуть щедрее, и я даже, кажется, повеселел и раскланивался чуть ли не с ощущением, что справедливость восторжествовала.

Нужно ли добавлять, дорогая, что и эти монеты, горячая сердцевина моей коллекции, не увидели прилавка и, как и предыдущие, были перепроданы втрое, впятеро, вдесятеро дороже. И если я сокрушаюсь до сих пор об этом, то, конечно, не потому, что так дешево расстался со своей коллекцией — лучше, если бы я в свой черед ее кому-нибудь подарил, — а потому, что дал залезть в нее менялам и проходимцам. Единственным, хотя и слабым утешением может служить разве то, что в скором времени магазинчик был навсегда закрыт — понятно почему, — и еще я хочу надеяться, что монеты мои хотя и расстались со мной и друг с другом, утратив то единственное в своем роде интернациональное братство, но все же попали в конце концов к хорошим людям — тихим мальчикам и пожилым сумасшедшим, внося в их жизнь огонек той мечты, которая чуть подсвечивала мое отрочество.

...Если судить по тому, как ты ведешь себя последнее время, получается, что ты решила не мешать моему уединению. Но, дорогая, не слишком ли прямолинейно ты поняла мое желание ИНОГДА, я подчеркиваю это слово, побыть одному? Ты наказываешь меня одиночеством, дабы я признал, что ты лучше, чем оно. Я согласен, но не можем же мы с тобой вместе разбирать клавир Третьей симфонии Брамса? Хотя если бы ты играла на рояле... Нет, пусть все остается, как сейчас. Не надо ревновать меня к моему делу, я, кажется, об этом уже говорил. Есть вещи, которые надо делать одному. Это катастрофа, если в будущем не останется дел для одиночек, искусство рождается одиночеством, даже в таком коллективном деле, как мое. Прежде чем я встану за пульт, я должен много и хорошо подумать. Ноты — это ведь еще не музыка, хотя вроде обозначено все, что нужно. Это как текст актерской роли, а роль — она в воздухе. В воздухе жизни, чуть покривясь, могу добавить я.

Мой первый дирижер — в оркестре музыкальной школы — был добр и мягок, он не требовал, а умолял, и вся его репетиция сводилась к бесконечной мольбе, при этом он по-женски обижался, переносил центр тяжести с музыки на свою собственную персону. Он не давал нам радости исполнительства, пронося мимо нашего рта лакомый кусочек. До сих пор помню неутоленный музыкальный голод этих наших оркестровых бдений. Шлифуя отдельные фразы, разучивая по кусочкам, он так долго собирал их в единое целое, что в конце концов убивал в нас музыку — в тот самый момент, когда ее от нас требовал. Сколько потом еще попадалось мне таких гениальных ревнителей частностей, деталей, штрихов, не видящих дальше них ничего. О, как это трудно — доволочь себя и других до цели. К результату почти всегда приходишь через компромисс. Гениальные дирижеры те, у кого этот компромисс сведен к минимуму. Таков Караян. Мои компромиссы крупнее. Мой первый дирижер, человек уникальной одаренности, бывший вундеркинд, их вовсе не знал. И потому так и не поднялся выше школьного симфонического оркестра.

Ты права, оркестр может играть и без дирижера. Были такие оркестры, но музыка получалась среднеарифметической. Можно и теперь не выйти на эстраду во время концерта, оркестр-то все равно сыграет приблизительно так, как ты с ним репетировал. Тебе нравится приблизительное? Главное — репетиция. Но ты нужен и для слушателей. На концерте дирижер, хочет он того или нет, помимо всего прочего, еще и лицедей; ему, конечно, не обязательно дергать ногами, как Бернштейн, но в жесте его должен быть импульс движения музыки. Психологи советуют: чтобы сосредоточиться, надо закрытыми глазами увидеть кончик собственного носа. Дирижер для этого тоже подходит.

Вспоминаю другого своего дирижера, руководившего духовым оркестром училища. Огромный, как Штоколов, или еще огромней, он в своем гражданском обличье так и оставался военным, воспитанником военного оркестра, а военных я узнаю за версту, да и мое детство, прожитое рядом с отцом на казарменном положении, как бы высвечено отблеском чуть помятых труб, тромбонов и альтов. По-медвежьи мощно-неторопливый в движениях, как бы возвышающийся на башне собственного тела, откуда усмешливо и снисходительно поглядывала окрест ого крепкая красивая голова, он поначалу шагнул перед нами на свой дирижерский помост, но тут же под услужливые наши смешки слез с нето, пробормотав, упирая на «о»:

— Высоковато будет.

А руки его, когда он их вскинул, призывая к вниманию, а потом уронил, были скорее руками ратоборца, привыкшими к мечу. Но жест его был таким пружинистым, словно им он нас вытолкнул куда-то, где царили строгость, четкость, согласованность, порядок, где все были равны и у каждого, как в уставе, был свой строгий маневр, — и я, человек до корней волос гражданский, с восторгом, как когда-то в детстве, подчинился этой сверкающей шагистике звуков, испытывая счастье от того, что умаление моего «я» приобщает меня к какой-то завораживающей, сознающей свое право силе, а когда меня, отдельного, вовсе не стало, я тем не менее почувствовал, что я не только есть, но и гораздо сильнее, чем недавно был, и знаю что-то большее, чем недавно знал. Концертный этот марш оборвался ослепительным, как выстрел гаубицы, аккордом, и мы сидели, оглушенные, еще слыша, как содрогнулись высокие окна и стены нашего зала, а дирижер, выждав паузу, словно тоже слушал про себя, гмыкнул:

— Даже у своих что-то не припомню такого. Молодцы. Давайте повторим. Восьмой такт от конца! — И он снова энергично, будто взводил ударный механизм, враз вскинул руки...

В своем первом духовом оркестре я сделал открытие, что кларнет в окружении меди звучит визгливо — словно вдруг меняет тембр. К тому же ему отданы здесь самые виртуозные пассажи, какие в симфоническом оркестре по праву принадлежат скрипке, — он колоратурное сопрано среди мощных, луженых, мужских глоток, с чем можно справиться только при наличии гибкой техники. Но тут-то и выявились мои слабину, на которые Евгений Афанасьевич закрывал глаза. Я продолжал оставаться одним из ведущих его учеников, и техника моя наращивалась медленно, как годовые кольца на стволе дерева, но я-то знал кларнетиста, для которого срок обучения не значил ничего, — и это грызло меня.

А репетировали мы не что-нибудь, а «Приглашение к танцу» Вебера, где после широкого романтического зова валторны — вихревые каскады шестнадцатых, скрипкам они нипочем, по я на них сразу потерял пальцовку. Чтобы не отстать, я проделывал примерно тот же самый мелодический рисунок, глотая по три ноты кряду и надеясь, что дирижер этого не услышит, так как первым играл, конечно же, холодный виртуоз Соколович. Но дирижер вдруг нахмурился, остановил оркестр и попросил нас с Соколовичем повторить эти проклятые шестнадцатые. Я собрал в кулак все свои силы, нервы, возможности, все лучшее, на что я был способен, но сломался на четвертом такте.

— Так, — сказал дирижер не то брезгливо, не то с сожалением поглядев на меня, — этого взгляда я боялся все мое детство, всю мою юность — взгляда, когда у меня что-то не получалось, такой взгляд был и у моего учителя физкультуры, когда я после всех смогших не смог сделать в школьном зальчике колесо. Он сказал, что надо повторить, я решился — бросился вперед боком, руками... не знаю, какой пируэт я описал, но, когда осознал себя на дерматиновом мате, вокруг стоял хохот моих одноклассников, а учитель — маленький, широкоплечий, с грубым красным лицом и грубым голосом, больше всего он любил страховать на спортивных снарядах наших обретающих женские формы девочек, — учитель посмотрел на меня точно таким же рассеянно-сожалеющим взглядом, в котором я прочитал свой приговор. Так теперь смотрел на меня прославленный духовой дирижер и композитор, а после него — и мои сокурсники. Он попросил меня в этом месте не играть. Нужно ли добавлять, что и соло, изумительное соло кларнета, исполненное достоинства и благородства, напоминающее рыцарский жест, обращенный к даме сердца, было отдано не мне. А его я играл не хуже Соколовича, забравшись на широкую лестничную площадку, если все классы были заняты, площадку, облюбованную «деревяшками» за праздничную, звонкую акустику, играл широким мужественно-нежным звуком, который затем в симфоническом оркестре подхватывают скрипки... Кажется, мне так и не удалось сыграть это соло. А жаль. Может быть, я заставил бы дирижера взглянуть на меня иначе. Хотя я потом играл все четыре концерта Вебера для кларнета с оркестром — кажется, муж сестры композитора был кларнетистом. Подумать только: выйди сестра замуж за другого — и этих бы четырех концертов не было!

Скрытно желающий быть первым, первым во всем, я мало где вырывался вперед, и все мои потери, провалы, промахи до сих пор живы во мне, погруженные в физиологический раствор моего честолюбия. Оно заставляло меня стиснув зубы продираться дальше и выше, не обращая внимания на зуботычины и щипки, чтобы каким-то образом придать логическую законченность неудавшимся судьбам моих родителей, своей судьбой доказав им, что жили они не напрасно. Как страстно мне хотелось именно в их глазах стать первым — у меня бы не хватило ни воли, ни желания сделать это для самого себя. Воля моя подогревалась на костре невоплощенных родительских надежд. И все-таки в свои восемнадцать лет я чуть не разрушил лелеемую ими мечту.

Это было особое, больше не повторившееся время, оно пришлось и на мой срок службы в армии, но началось раньше, несколькими потоками, одним из которых была новая музыка. Я не успевал поворачивать голову — отовсюду звучали новые и забытые старые обнадеживающие голоса. Я говорю об атональной музыке и о джазе, дорогая, о том, что он значил для нашего поколения. Сначала выплыл чуть ли не из небытия оркестр Эдди Рознера, затем родился новый оркестр — Олега Лундстрема, набирающая силу музыкальная волна, опрокинувшись, разбилась на

сотни малых джазовых групп, малых составов, а с пластинок и магнитофонных лент зазвучали прежде неизвестные нам трубач Диззи Гиллеспи, саксофонисты Чарли Паркер, Джон Колтрейн, Джерри Муллиган, мелодии Модерн Джаз квартета Джона Льюиса, джаз-банд Каунта Бейси, голоса Луи Армстронга и Эллы Фитцджеральд. Да, и меня поглотил джаз, а для него кларнета было мало, и когда я взял в руки саксофон, чудесный немецкий альт, когда он ожил, издав жалобный, почти человеческий звук, кларнет показался мне выжившей из ума стариковской дудкой, годной разве что для диксиленда, где он на роли паяца... У меня сразу распустился амбушюр, то есть постановка губ, и бедный мой, дорогой мой Евгений Афанасьевич, узнав о совершенном мной предательстве, в один день усох, и глаза его, допрежь блесевшие в мою сторону горделивым блеском, померкли.

Дорогая, если бы в 1960 году тебе пришлось заглянуть в танцевальный зал Дворца культуры имени Промкооперации («Промки»), переименованного потом в Ленсовета, то там, в джазе Иосифа Вайнштейна, в первом ряду вторым слева с альт-саксофоном ты, может быть, узнала бы меня. Я говорю — «может быть», потому что в то время я был на двадцать лет моложе, к тому же с бородой, то есть совсем другим, чем теперь. Но ты родишься только через несколько лет, а значит, вся моя джазовая эпопея пройдет без твоего, пусть номинального младенческого присутствия в этом мире, и розовыми своими ушками, которые тебе промывают ваткой, смоченной в теплой воде, ты не услышишь теплый, гнусаво задушевный голос моего саксофона.

Училище у меня хватило ума не бросить, но я перевелся на дирижерско-хоровое отделение, нажимал на гармонию, на фоно, на дирижирование и встречался теперь с Евгением Афанасьевичем разве что случайно.

Музыкальная наша общественность, как это с ней не раз бывало, оказалась неподготовленной к новой джазовой волне, шедшей к нам долго, чуть не сорок лет, и по инерции дала ей поначалу не один бой, но группы множились — никто не в силах был сдержать эту лавину, и в свинге, в синкопированной манере исполнения, в импровизации мы обрели новые, казалось, неисчерпаемые возможности для откровенного разговора, для исповеди. Все это совпало с одной из самых умопомрачительных наших кампаний — борьбой с узкобрючниками. Сколько было сделано карьер на ниве этой тотальной борьбы. Впрочем, педагоги нашего училища, как люди более продвинутые, проявили к новой моде мудрую терпимость, что позволило и мне щеголять в брюках шириной всего семнадцать сантиметров. Да, милая, не смейся — вашему, ходящему в чем душа пожелает, поколению не понять великого смысла дискуссий, разгоравшихся между нормальными двадцатью пятью и ненормальными семнадцатью сантиметрами...

Музыкальным фетишем времени стал саксофон, как в семидесятые — электрогитара. Майлз Девис и Дейв Брубек — мы знали их композиции наизусть, и в наших недрах подрастали здравствующие ныне, хоть и отодвинутые безжалостно новой волной, на сей раз поп-музыки, Лукьянов, Голощекин и Гаранян. Джазовая музыка, прежде всего инструментальная, странным и прихотливым образом переплеталась в сознании нашего поколения с героями только что вышедшего двухтомника Эрнеста Хемингуэя, они определили нашу лаконично сдержанную манеру поведения... А рядом раздавались ожесточенные споры из цеха поэтов и живописцев, почему-то больше всего не повезло Фальку: его картины, похоже, вытащили из запасников только для того, чтобы еще раз распать.

Да, это было время грандиозных поэтических сборищ, открылось даже такое кафе «Сонеты» — ты его знаешь, — где я играл в перерыве между стихами, трогавшими меня гораздо меньше, чем только что прочитанные строки Мандельштама и Пастернака. Это было время простых, с высоким воротом свитеров и узких брюк, за отсутствием еще не добравшихся к нам джинсов, сшитых из палаточной ткани. Было даже поползновение перенять лохмотья «битников», но эта вовсе аскетическая мода почему-то не привилась на нашей вполне аскетической почве, думаю, — по недостатке информации, чтобы затем, через лет пятнадцать, уже под другим названием, «хиппи», все-таки появиться у нас неназойливо и несмело, не вызывая уже остервенелого шепота прохожих, перенесших другую брючную волну — расклешенную, после которой, видимо, навсегда был утрачен ориентир, отличающий правильную одежду от неправильной. Так выросли мы, вырвавшись из объятий френча и телогрейки.

Помимо джаза Вайнштейна, кстати, майора запаса, в прошлом военного дирижера, что позволяло ему вести нашу команду через беспокойное море общественного мнения, которое постоянно искало точки приложения нерасплесканных сил, помимо этого, я играл в составе трио — ударник, контрабас, альт-саксофон — на своей постоянной площадке в кафе «Белые ночи», которое было под комсомольско-молодежным самоуправлением и куда попасть было так же трудно, как... Впрочем, есть ли сегодня такие места, куда не попасть? Джазовая недолгая эта лихорадка, с фестивалями, джемсейшнами, думаю, тем была полезна, что приобщала молодежь к музыке, к исполнительству, к слуховой культуре, к мелодическому чувству и мышлению. Для танцев эта музыка мало годилась — была слишком серьезной, сосредоточенно-монотонной и по преимуществу печальной — знатоки приходили только послушать, и, бог мой, импровизируя на заданную тему из восьми тактов, я чувствовал крылья.

Вспоминаю это кафе, силюсь, протерев глаза, снова взглянуть в лица молодых людей, моих сверстников — на столах пустовато, чашка кофе, коктейль, тогда это только вошло в моду, стойка бара много беднее, чем потом... что заставляло их часами просиживать в этих прокуренных помещениях с пластмассовой мебелью на железных ножках, какая сила удерживала их на месте, обращала к площадке, на которой я, закрыв глаза, ковырялся в чужой мелодии, не всегда уверенный, что выползу на свет из головоломных потемок, только слыша где-то за собой шуршание щеток и, словно осып с горы, барабанный простук Генки Рудакова, рыжего крепыша, самбиста, да посапывание контрабасиста Гошки Абрамова, которому я под хлопки из зала уступал мелодию, и он от избытка чувств начинал выть и бурчать в унисон своему инструменту, к вящему восторгу знатоков творя импровизацию, похоже, сразу двумя полушариями — левым и правым...

«Что мы видели во всем этом?» — спрашиваю я самого себя. Отчего замирало сердце, отчего казалось, что вот эдак мы и живем по-настоящему, почему в условный этот мир, а что он условен, показало будущее время, мы вкладывали все свое лучшее? Был ли я счастлив тогда? — не помню. Думаю, что не был, но я был уверен — это впереди. Здесь, видимо, я должен назвать три литературных произведения, по которым я мерил тогда и себя и окружающее — «Жизнь Арсеньева» Бунина, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста и «Доктор Фаустус» Томаса Манна. Бунин и Пруст помогли мне осознать свое прошлое, свое детство, ушедшее время как непреходящую ценность; Манн подсказал концепцию творческой личности, живущей по законам трагедии, романтическую концепцию личности и толпы, из-под которой я не скоро выкарабкаюсь.

Я совсем не знал жизни, боялся ее, боялся людей и оттого был надменен. Мне казалось, что многие не знают и не умеют того, что знаю и умею я, и я стал высокомерен. Друзей у меня не было — только приятели, — но им было неинтересно то, что волновало меня, и я возомнил себя гением. О моей гениальности никто, кроме меня, не подозревал, но это меня не смущало. По сути я был человеком, оказавшимся в плену собственных иллюзий, которыми я подменил живой мир, но опять же никто об этом не догадывался, потому что я, как и другие, ходил на занятия, осваивал под рояль приемы дирижирования, а по вечерам два раза в неделю в «Белых ночах» и столько же в «Промке» доставал из белой фланели своего серебристого морского конька, зная, каким завистливым блеском загорятся глаза моих сверстников.

Помню и неприятные моменты, когда, скажем, я не пошел по окончании десятилетки на выпускной вечер, и на вопрос одноклассника: «Почему?» — мы стояли перед школой, до вечера оставалось полчаса, и одноклассник мой, Валерка Неволин, причесанный, в костюме, в белой рубашке с галстуком, ждал, что я ему отвечу, и на его настойчиво повторенное: «Почему?» — я сказал:

— Что я, дурак, что ли?

— По-твоему, все мы дураки? — вдруг покраснев и налившись злостью, шагнул он ко мне...

Я только пожал плечами.

И в училище помню тяжелое объяснение со старостой нашей группы, валторнистом Петькой Ивановым, — дело было в том, что одна из наших девушек, Ада Мултанова, учившаяся по классу

ударных инструментов, якобы была влюблена в меня, и мое наплевательство на этот факт почему-то вызвало всеобщее возмущение.

— Ты должен пойти на ее день рождения, — повторял он, — должен, понимаешь? — Хотя я только что в присутствии всех приглашенных отказался от этого. Мне таки пришлось пойти, я даже танцевал с ней, брезгливо ощущая ее прильнувшую ко мне безутешность и отворачиваясь, будто запах ее волос был тошнотворен.

Все это мне не очень приятно вспоминать, дорогая, но если уж говорить, так только правду. Иначе в этом нет никакого смысла. То, конечно, был юношеский солипсизм — каково же мне было узнать о призыве в армию на срочную службу... Я-то был уверен, что по окончании училища сразу поступлю в консерваторию, однако меня призвали раньше — в июне. Поспешный этот призыв имел под собой серьезное демографическое обоснование — призывались те, кто родился в 1942 году, и военкоматы сбились с ног в поисках призывников. Вот почему там не стали слушать никаких доводов — не помогли ни звонки, ни просьбы, единственное, что пообещали моим ходатаям, — что меня возьмут куда-нибудь в военный оркестр.

И тут меня вдруг заклинило — раз меня брали в армию, я должен был испытать ее как все. С этим категоричным требованием я и обратился к военкому на медкомиссии, вдоль которой мы в трусах, а то и без них проходили по кругу от врача к врачу.

— А что ты еще умеешь? — спросил он.

— Ничего, — сказал я.

— А чем увлекался?

— В детстве — авиамоделизмом.

— Авиация? — задумался он. — В авиацию мы уже набрали... В вэмэф пойдешь?

Я кивнул.

— Ну что ж, только не пожалей... лабух, — усмехнулся он.

Год я прослужил на полуострове N., и этот год считаю одним из самых важных в своей жизни, потому что от него и пошло все остальное.

## 7

...В тот вечер, стоя в карауле, я глядел на закат. На севере они длинные, разворачивающиеся величаво и неспешно, как мелодия в «Кольце Нибелунга». В этот раз небо было не из скандинавской саги, а из древнерусского эпоса, из «Слова о полку Игореве» — красная несметная рать, обведенная по шлемам, копьям, оплечьям, красному стягу «смертного боя» золотым полыханием заходящего солнца. Рать эта протянулась через все небо, над морем с его бесконечно далекой линией горизонта — и отсюда, с огромной сопки, с ее вершины, где я шагал взад-вперед у зачехленного боевого комплекса, в море был виден корабль, даже не он сам, а белый непогающийся кильватерный след. Ветра почти не было, не ветер, а ветерок с материка, легкий, папахивающий травой, нагретыми за день валунами да дымком нашего пищеблока. Это был запах обжитой земли, в то время как в стороне, куда смотрел я, до самой Гренландии не было ни травы, ни жилья, ни запаха кухни.

Небесное шествие все продолжалось и продолжалось, пешие становились конными, а конные спешили, шли рядом со своими боевыми конями, сбивались гурьбой, тянулись поодиночке — по дуге вдоль выгнутого небосвода, все пламенея, все сгорая в золоте заката, в наклон, все дальше и дальше от русской земли, которая уже за холмом... А потом они все ушли, и на небе проявились древние луки, то ли луки, то ли лебединые крылья, золотые стрелы — над ними истаивало лазурью глубокое августовское небо, ветерок пошевеливал траву у моих сапог, кильватерный след

пересек море из конца в конец, и из-за среза сопки на повороте дороги я увидел поднимающуюся ко мне враскачку смену караула.

Через четыре часа я должен был снова заступить на пост, но разводящий повел меня не в караулку, а к ротному.

— Бумага на тебя пришла, — пояснил он, и я ломал голову, что это за бумага, чувствуя, что она каким-то образом связана с моим музыкальным прошлым, потому что тогда, год назад в Североморске, при формировании нашей группы для отправки кто-то громко спросил: «Музыканты есть?» — и я инстинктивно ответил: «Есть». Тогда ответ мой ничего не изменил в моей судьбе, потому что было не до музыкантов, а теперь...

— Признавайся! — сказал наш ротный старлей Дедов, высокий и ладный тридцатилетний мужик, он курил, вприщур изучая меня.

— Не понимаю, — сказал я, с невольным удовольствием разглядывая его загорелое лицо, посеченное ранними морщинами. В тот момент я все-таки еще не совсем понимал, то есть имел право и не догадаться.

— Понимаешь, — выдохнул он струю дыма. — Вижу, что понимаешь. Шустрый. А жаль... не хочется мне тебя отпускать. Ох как не хочется...

— О чем вы, товарищ старший лейтенант? — уже окончательно понял я, тщетно стараясь выглядеть невинным. В душе я ликовал. Я соскучился по музыке. Значит, Североморск!

— Что ж, собирайся, — вздохнул ротный. — Иди в строевую. Там возьмешь командировочное предписание.

Я стоял неподвижно.

— В Североморск тебя направляют, понял?! В распоряжение штаба. Только где замена? Кем я тебя заменю? Ты спроси у них, кем?! — ротный встал, давая понять, что разговор окончен.

— Товарищ старший лейтенант, — сказал я. — Хотите, я останусь?

— В армии не хотят. В армии приказывают и выполняют приказы. Буду в части, послушаю, как ты там играешь... Тоже мне, Армстронг.

До этой минуты мне казалось, что я люблю свою казарму, дорогу, обвивающую сопку, морской, вечно меняющийся пейзаж, а тут как отрубил — только одна мысль стучала во мне: только бы не сорвалось, только бы не передумали.

Рейсовый катер уходил ночью. Я попрощался со своими друзьями — двое из них потом разыщут меня в Ленинграде и будут рассказывать, каким я был тогда, что делал и что говорил; слушая их, я почувствую, что это наша последняя встреча, что дружба наша, рожденная волею одних обстоятельств, теперь по воле других неизбежно сойдет на нет, и все же мне было близко и дорого то, о чем они говорили. Из их рассказов, которые адресовались не столько мне, сколько моей жене, возникал образ совсем другого человека, имеющего мало общего с моим автопортретом. Образ этот был для меня неожиданным, в нем было много смешных деталей, и я тогда же сделал открытие, что, оказывается, еще не относился к своей персоне с юмором. Так вот, простившись с ними, заглянув и к тем, кто был на боевом дежурстве, я вскинул на плечо ремень вещмешка и шагнул в темноту. Ночь была ясная, и во всю ее ширь светилось, горело звездами августовское небо. Я шагал вниз вдоль сопки, где по грунтовой, где по проложенной просто по скальному монолиту дороге, изученной за год так, что я мог бы идти вслепую, шагал под глухие хлопки длиннополой шинели о кирзовые сапоги и то и дело поднимал лицо к небу. Оно кишело иными мирами, и я вдруг почувствовал, что отношусь к нему как-то по-новому, — оно объединяло все миры с моим никому не видным маленьким миром, и это давало мне возможность одновременно осознавать свое начало и конец, я словно различал то, что после меня останется: какой-то вздох, какая-то мысль, какой-то запавший в слуховой памяти звук... Небо дымилось, и разные его участки имели разную глубину, оно было неровно запылено светом, и кое-где

оставались темные провалы, в других местах светила лезли друг на друга, кишели, как бактерии под микроскопом, и я размышлял на ходу, что в своей жизни должен пройти там, где пока почти ничего нет, и еще, глядя на звезды, которых становилось все больше и все ярче они освещали дорогу, глядя на них, я думал, что вот так и жизнь моя будет состоять из светящихся уплотнений и темных разреженностей, и, что, проходя через тьму, я не должен забывать, что где-то впереди снова ждет свет. И чем дольше я глядел вверх, тем больше преисполнялся ощущением непреложности происходящего — все там было, и все равнялось всему: глупое и умное, хорошее и плохое, смертное и бессмертное, красивое и безобразное, доброе и злое, — и в этот момент я понял, что больше не буду жить, как прежде, и если буду счастлив, то совсем иначе, будто все предыдущее прошло почти бессознательно, почти без моего воздействия, а дальше все будет зависеть в основном от меня самого, от моего умения создавать и сохранять, я как бы отделился от бессмертного мира, из которого прежде черпал счастье, особенно в детстве, когда я был равен небу, грозе, дождю, — отделился и за все дальнейшее отвечал сам, и если, скажем, мне бы теперь стало худо, я должен был бы так и сказать: это зависит от меня самого.

Помню крик катера из тьмы, шумное копошенье, будто плескалось стадо тюленей, и вдруг ударивший в берег дымный луч прожектора, и насквозь зеленую воду у скалы, помню теплую общую каюту и как хорошо дремалось, голова на вешмешке и сквозь лавку — урчащий трепет железного нутра... и еще как было в Полярном, а потом, в следующий вечер, — как встали в распадке скал городские пятиэтажные огни, и странное чувство возвращения в прежнюю цивилизованную жизнь, странное чувство с примесью утраты — горящие на улицах фонари, неоновые надписи: «Книги», «Молоко», «Парикмахерская», «Дом офицеров» — троллейбусы, огни городской жизни и учащенный стук моего неисправимо городского сердца.

Казарма была почти такой же, как на точке, разве что потесней — кровати здесь стояли в два яруса, бешено хотелось спать, а утром, когда роты и батальоны строились на развод, меня направили в клуб.

Разобрали инструменты, кто-то скомандовал: «И!» — и грянул, стиснув мне горло, с детства знакомый марш «Парад Победы».

Кларнета не было, кларнетист Куропаткин демобилизовался вместе со своим инструментом, и, пока шла в мой адрес посылка — для верности матушка обернула футляр с кларнетом двумя слоями ватина, — я стучал на большом барабане. Я до сих пор помню их всех, музыкантов духового оркестра, дважды при мне поменялся состав, но я помню каждого и о каждом мог бы долго тебе рассказывать, дорогая, боюсь только, что это всего-навсего те стариковские воспоминания, которые оживляют разве что самого рассказчика, а мне так не хотелось бы увидеть на твоём прекрасном лице гримасу вежливого безразличия. И все же о некоторых я не могу не рассказать: наберись терпения — там прошла моя молодость, и те, возле кого она прошла, дороги мне уже по одной этой причине.

В оркестре было три Анатолия — три Тохи: Тоха Виноградов — баритон, Тоха Рыжов — труба, и Тоха Штукин — барабан. Рыжов и Штукин были москвичами, эстрадниками, причем Штукин был учеником известного тогда в Москве барабанщика Лаци Олаха. Был он маленький, но ладный, осанистый, со светлыми навывкате глазами, волосы его цвета пакли торчали, как у дикобраза. Говорил быстрым московским говорком, острил напропалую, «хохмил», всегда, везде, постоянно подтрунивая над нами, над всеми и над собой. Музыкантом он был целеустремленным, считал, что армейские годы не должны пропасть даром, готовил себя к джазовой карьере и все свободное время проводил за тренажером — чурбанчиком с набитым сверху толстым куском резины. Резина эта и испытывала на себе все ритмическое разнообразие, какое придумал для барабанщика джазовый век. Вколачивал он свои палочки подолгу, неустанно, руки у него были сильные, мускулистые, с упругими запястьями и сильно развитыми, как икры у танцора, предплечьями.

Тоха Рыжов был поленивей, поваляжней, тоже невысокий, с умными плутоватыми глазами, блестящими, как черносливины. На смугловатом его лице выделялись подпухшие от мундштука мягко очерченные девичьи губы, над которыми пробивались усики. Говорил он низким, хрипловатым голосом, был не так сноровист, как

Штукин, да и исполнительство оставляло желать лучшего — он слабовато читал с листа, словно балдея от мелодии и тут же утаскивая ее в одному ему ведомый ритм. Но у него был прекрасный открытый звук, и если по какой-либо причине Тоха отсутствовал, оркестр звучал тусклее. Оба Тохи были на год меня старше и, хотя я не имел обыкновения считаться с привилегиями «стариков», все-таки чванились передо мной этим лишним годом службы. Зато командир нашего музыкального взвода сержант Тоха Виноградов в силу врожденной интеллигентности никогда не подчеркивал своего старшинства. До того как попасть сюда, он, как и я, тоже год провел на точке, где стал классным специалистом, что подтверждалось соответствующим знаком на его гимнастерке. Высвистали его год назад, и, хотя его музыкальное образование исчерпывалось тремя годами детской музыкальной школы, он благодаря своим природным данным был в нашем оркестре номером один. Баритон — сольный инструмент, во всех маршах вторая часть — за ним, он ведет мелодию, которую затем подхватывают трубы, и Тоха каждый раз так преподносил свою коронную фразу, что все остальные поневоле тянулись за ним. Выглядел этот третий Тоха уморительно — лицо у него было узкое, точно невзначай прищемленное створками дверей, отчего непомерно выпятился клювастый, почему-то всегда красный нос и отвисли длинные, мокрые, неровно складывающиеся губы. Они у него жестоко мерзли на морозе, и ему приходилось до самого своего соло прятать лицо в воротник шинели, за что он не раз получал на разводе замечание от комбрига. Тщедушный, сутулый, с покатыми слабыми плечами и птичьей грудью, он из всех перевиденных мною за три года младших командиров так и остался самым авторитетным. Чтобы стать «своим», он не играл ни в панибратство, ни в демократизм, авторитет его держался на том, что Тоха ни в одном деле, которое нам поручалось, не отделялся от нас по праву старшего, а спокойно вставал рядом с нами в упряжку и тянул лямку из всех своих малых сил — малых, потому что он родился в сорок первом в Сталинграде, и непонятно, каким образом выжил вместе с матерью в подвале дома, прошитого до фундамента немецкой фугаской. Презрение его тоже было особого рода — он, помнится, никогда не наказывал провинившихся, но Умел так не замечать их, так обходить молчанием, так ни о чем больше не просить, что неожиданная эта праздность оборачивалась для них пыткой. Так мне открылось, что одно из важнейших условий нашего душевного равновесия — сознание того, что ты для кого-то или для чего-то нужен.

В оркестре был еще один сержант — Баранюк, фамилии которого, а еще больше ему самому соответствовала то вслух, то мысленно произносимая нами рифма. И если я и запомнил его, то только по контрасту с Тохой Виноградовым, на которого он ничем не походил. У него было несколько пунктиков: так, своей львовской зазнобе — он был из Львова — Баранюк представлялся офицером, для чего фотографировался в офицерской портуpee в таком развороте, чтобы погоны были не видны. Уверовав в свой жениховский чин, он вкладывал в мягкие солдатские погоны пластмассу, ходил только в яловых сапогах с ушитыми голенищами, охватывавшими икры красивой гармошкой, и обладал патологической тягой к похоронной музыке. Никудышный трубач, он и в клубе изводил нас медленными, надрывными мелодиями, которые почему-то оказались сродни его тупому нутру.

Был у нас музыкант еще никудышней — Серега Шубин, альт, секунда, которая в оркестре исполняет: «Умпа, умпа, умпа-па», — но зато это был человек философского склада ума, в силу чего он нигде долго не удерживался, ни к чему не прибывался и осел в нашем взводе только потому, что ни на что другое оказался не пригоден. Да и тут он недолго вдохновлялся своей секундой и вскоре был освидетельствован медкомиссией как человек неадекватный, лечился и был комиссован. Сереге было трудно потому, что он ничего не принимал на веру и задумывался над простыми вещами, которые мы делаем автоматически. Одно время он объявил войну бане, решив вдруг, что еженедельное мытье претит природе человека, так как лишает защитного слоя, вырабатываемого железами, слоя, который здесь, на Севере, где повышенная космическая радиация и пониженное количество кислорода, был, по мнению Сереги, более чем необходим.

— Я читал об этом, — противостоял он нашей гогочущей братии. — Еще в эпоху Возрождения многие считали мытье ослаблением души и тела — они не мылись, а очищались. И голову не мыли. Она потому и пачкается, что ее моют. Если ее оставить как есть, через месяц она придет в естественное состояние. Звери ведь не моются. Кошка не моется — она очищается...

— Во, ходяра! — мелко похохатывал Штукин, быстро оглядывая всех, — правильно ли мы понимаем Серегу. — Вот ты, Серя, к старшине и слетай, к завхознику, попроси, чтоб он тебя вылизал. А ты его.

— Кретины вы серые, — говорил Серега Шубин, не обижаясь, и в баню не шел, ожидая, пока волосы его придут в гармоническое единство с внешней средой.

Затем он пришел к мысли, что принятая в армии традиция отдания чести устарела и что надо заменить ее обычным гражданским «здравствуйте!». Он и не отдавал честь, расхаживая по Североморску, будто по деревне, из которой призывался, в шапке с опущенными ушами, руки в карманах, и каждого встречного офицера громко приветствовал: «Здравствуйте!» Видимо, только благодаря своей навязчивой вежливости он ни разу не попал в комендатуру, а только в госпиталь, чтобы потом на пару дней снова оказаться в нашей казарме.

Перед отъездом на гражданку в свою родную деревню он зашел ко мне попрощаться — я отдыхал после ночного дежурства на КПП — и сказал:

— Ты мою альтуху никому не отдавай, пока я до дому не доеду. Там моя душа. Как ты думаешь, душа — она от дыхания или оттого, что душит?

## 8

Дорогая, представь себе крутое морозное утро, когда воздух звенящ и упруг и все звуки — как малые или большие металлические шары, и, когда идут на взлет дальние бомбардировщики, шары эти со стальным промерзшим стоном сыплются на заснеженную землю, раскатываясь по складкам, по впадинам сопки — какой куда... Знаешь ли ты, как звучит оркестр в этом морозном, каленом воздухе, как звучит он в ста метрах от плаца, у нашей казармы? — раздаются одни только частые удары, будто выколачивают палкой пыль из ковра, иней из стоящего коробом сухого морозного белья. Это стучит мой барабан. Иногда его сопровождает иволжий голосок флейты — это Сашка Ильин в перчатках без пальцев осмелился вылезти на мороз. Мне-то проще всех — я стою и колочу — раз есть флейта, кларнет подождет. Барабан оттягивает плечо, в левой руке у меня тарелка, она так промерзла, что не звенит, а жалобно лязгает, товарищи мои греют трубы под лапами шинели, и то один, то другой спохватываются, бешено продувая их теплым дыханием и оживляя пальцами костенеющие клапаны, — полагается заливать в трубы спирт, но спирт, выданный нам с вечера начальником клуба, до утра улетучился. Оркестр наш — слабость командира — создан сверх штатного расписания, входит в хозяйственную роту, и поэтому у нас два начальника: политотдел и командир роты. Комроты, часто с гордостью объявляющий нам, что ему медведь на ухо наступил, очевидно, в силу этого считает нас лоботрясами и норовит тишком засунуть куда-нибудь в наряд, а политотдел вместе с командиром справедливо считают, что музыка повышает боевой дух части, и потому иногда освобождают нас от нарядов на хозработы. Разногласия налицо, и мы, как умеем, пользуемся этим — например, приучаем комроты не выдергивать из нашего взвода по одному-два человека, объясняя, что без трубы или, скажем, тромбона марш не сыграть. Как не сыграть его без кларнета, альты, флейты... Тут комроты капитан Серпокрыл уже не нажимает на свою музыкальную неискушенность, даже наоборот, — пытается определить наш минимальный играющий состав, в отместку мы не появляемся на вечернем разводе, Серпокрыла вызывают в штаб, и, вернувшись оттуда, он гремит за своей дверью, сразу обращаясь и к богу, и к его матери с вопросом, какими нас все-таки считать — живыми, то есть боевыми, или мертвыми душами.

Сашка Ильин, московская флейта, — он не затерялся и по сей день, его я узнаю на пластинках с эстрадной музыкой, только больно уж часто переходит он из группы в группу, из оркестра в оркестр... Он, кроме того, ударился в сочинительство и время от времени присылает свои новые записи — по ним видно, что он остался верен нашей джазовой юности, и есть в этом что-то смешное и грустное.

Мы с ним ходили играть на танцах в Доме офицеров, где хозяйничал состав из флотского Экипажа — альты-саксофона у них не было, и я не без труда справлялся со слишком для меня громоздким тенором. А Сашка жарил на своей волшебной флейточке. Иногда мы впадали в раж,

не сразу замечая, что танцы прекратились и нас просто слушают молоденькие лейтенанты, по сути наши ровесники, а мы под фоно, ударник и контрабас перекидывались с ним своими мелодическими изысками — Сашкины политональные импровизации были лучше, он переплевывал меня, в своей совершенно непотребной смелости нарушая законы гармонии, которые я нарушить не смел, — ушастый наш матросик за фортепьяно, отчисленный за что-то из Рижской консерватории, встряхивал головой, оглядывался, его руки, словно в недоумении, зависали над клавишами, но он брал-таки требуемый Сашкой аккорд, и наша скачка с препятствиями продолжалась.

Мы с Сашкой держались друг подле друга, зная и любя примерно одно и то же, да и общих знакомых оказалось немало, — случалось, что в письмах я передавал привет от него, а он получал письма с вопросами ко мне. Мы вместе слушали присылаемые ему магнитофонные пленки, и иногда из нашего оркестра складывали недолюбливаемый мной раньше диксиленд, который я, став постарше, наоборот, полюбил за его ясный, прозрачный язык, за его детскую, наивную радость и неиссякаемый оптимизм.

После Сашки и трех демобилизованных Тох я фактически стал музыкальным руководителем оркестра, а через год, во время моего краткосрочного отпуска, мы встретились с Сашкой в Ленинграде на джазовом фестивале, я прошел за кулисы к своим знакомым и увидел его.

— Ну как там? — спросил он, и по тому, как изменилось его лицо, вернее, взгляд, ставший каким-то растерянно-беспомощным, пока он слушал, я понял, что он оставил на Севере больше, чем предполагал, — а что эта прекрасная вольная гражданская жизнь, о которой грезил мы жестокими морозными ночами, когда нас привозили на станцию для разгрузки открытых платформ с углем, — к утру от хлесткого ветра и угольной пыли мы превращались в негров — что жизнь эта, которую до армии мы мало ценили, оказалась гораздо сложнее.

У женщин Сашка пользовался неизменным успехом, даже в армии, по пути из части в Дом офицеров успевая завести знакомство. Помню, как прямо в часть дневальному позвонила чья-то молодая жена, поручив разыскать его, и тут же назначила свидание, и Сашка мчался в политотдел за увольнительной и одновременно просил меня позвонить в Экипаж, чтобы оттуда, в свою очередь, связались с политотделом, объяснив, как он нужен на репетиции. Он и теперь был не один — в переполненном зале перед первым рядом среди других привилегированных слушателей сидела на полу немочка, с которой он познакомился за шведским столом в Европейской гостинице, где остановился со своей группой. Ее звали Гудрун. Не помню, как с ней объяснялся Сашка, ни бельмеса не понимавший по-немецки, я с горем пополам знал этот язык и потому, что учил его в школе, и от отца, занимавшегося им всю жизнь. Она была студенткой колледжа, разве что на год-другой старше нас, с золотыми, распущенными по тогдашней моде волосами. Сашка представил нас друг другу, и она, с доброжелательным любопытством взглянув на меня, переспросила мое имя и тут же переименовала на свой манер, и ни она, ни он не почувствовали, что слишком уж голубые глаза ее, в которых немецкая обстоятельность соседствовала с интернациональной, только в молодости даруемой безудержной удалью, глаза эти процарапали меня до дрожи, которая не прекращалась весь тот вечер, — хотя по отношению ко мне в них, как я теперь понимаю, не было ничего, кроме приветливого участия. Я сел рядом с ней на пол — это было, представь себе, дорогая, в зале твоего Текстильного института, — и чем дольше мы вдыхали тот джазовый воздух, чем больше аплодировали, перебрасывались репликами, тем острее я чувствовал в своей армейской отгороженности, оторванности от всего женского, что мне хана. Я видел, как мне завидовали сидящие сзади, я узнавал их — музыковеда Ф., коллекционера джазовых записей В., чьи голоса тогда звучали каждую неделю в музыкальных радиопередачах для молодежи. В. пытался заговорить с ней по-английски, она отвечала ему, притом с хорошим произношением и одновременно вежливой дистанцией, чтобы у меня ни на минуту не пропадало ощущение, что она сейчас, естественно, со мной, и ни с кем другим. Мне уже казалось, что мы нашли общий язык, что что-то общее объединяет нас, у меня уже вертелся в голове жутковатый вопрос: «Давай уйдем отсюда?» — но тут на сцену вышел Сашка, с ним — гитарист, ударник, контрабасист и...

Тут, как иногда бывает после многоточия, совершилось что-то почти сверхъестественное, но, как я думаю, справедливое. Сашка начал играть — он начал вторым после гитары, нагнавшей в зал

электрического тока, от которого завибрировало в затылке. Или потому, что это был первый состав, играющий в горячей манере «хот джаза», или потому, что Сашка был в тот вечер в ударе — видимо, потому и был, что мы с Гудрун, то есть его на этот вечер девушка и я, его Друг, слушаем его, — но совершал он невероятное. Едва уловимо переступая с ноги на ногу — привычка счета, чуть подавшись головой вперед, подняв плечи, он выдавал на своей флейте все, чем мог похвастаться в тот период своей жизни, — все, что он утратил, и все, что приобрел, и была в его сумасшедшей игре уверенность, что «все-будет-хорошо-и-по-тому-не-надо-вешать-нос», — и это все почувствовали и после занудливых сложностей нескольких академических групп потянулись за этой немудрящей, но такой необходимой для всех истиной. И чтобы ни у кого не осталось сомнений, что дела обстоят именно таким образом, словно призывая: «За мной, ребята, там впереди кое-что есть!» — Сашка включил в свою импровизацию голосовые связки, как это делал один знаменитый негритянский флейтист, и так — двойными флейтовыми нотами, флажолетом — подпевая себе хрипловатым голосом «мужика-у-которого-много-друзей», он вырубил зал. Еще прежде чем обернуться к Гудрун, я почувствовал, что больше для нее не существую, — она смотрела на Сашку во все глаза, и в ней был такой порыв, такая готовность идти, бежать, лететь за ним, что подглядывать было грешно.

Удивительней же всего, что уже после армии я стал получать от Гудрун письма — сначала она жаловалась, что Sanja ей не пишет, потом уже писала, не упоминая его, а о своем, и что вовсе поразительно, она разыскала меня во время наших гастролей, это было года три назад, и мы с ней долго говорили. Она мало изменилась с тех пор, у нее трое детей, а муж — коммунист, и у них свои проблемы, сама она преподает литературу в колледже — она помнила тот вечер, ту музыку, Сашкину игру, «он играл для меня, Юри», — но острее всего она помнила, конечно, что все мы тогда были юны, и нам казалось, что мы из своей жизни можем сделать все, что ни захотим.

После армии дома у меня перебивают и Тоха Виноградов, и Тоха Рыжов, и даже тромбонист Петров, малопрятная личность с ухватками мелкого лавочника, — он у нас заведовал хлеборезкой, чтобы свежий хлеб, масло, сахар оркестр имел в соответствующем количестве, но и там он зажимал и скопидомничал — однако и он побывает у меня дома, и я ему отдам чуть ли не всю свою кларнетовую библиотеку, до сих пор не понимаю, зачем она ему понадобилась...

Тоха Рыжов приедет на мой день рождения — мы с женой будем еще снимать дешевый полуподвальчик неподалеку от Московских ворот, и всю новогоднюю ночь, а родился я за минуту до Нового года, веселая наша компания будет раскачивать стены отжившего свое «доходного» дома, «ребята, как вы мне нравитесь!» — будет стонать Тоха, а под утро, воспарив до высшей точки звенящего своего «я», он угонит притулившийся у тротуара автофургон для дорожных работ, чтобы развезти всех по домам, и развезет-таки, поставив вспотевший грузовик с бензином на нуле у той же бровки ровно за три минуты до того, как объявится шофер. Ухмыляясь, мы пройдем мимо него, ошарашенно щупающего горячий радиатор...

Но все это потом, в другой жизни, а пока в новогоднюю ночь, за пять минут до боя курантов, я через сцену вылезу из клуба, куда запихнули весь свободный личный состав, дабы предупредить самоволки, — на экране какой-то удивительный, новой кинематографической волной рожденный фильм «Человек идет за солнцем», роятся во тьме ночного города цветные подфарники машин, снятых неизвестным Дербеневым, звучит странная, как будто твоим чувством времени наполненная музыка никому еще не известного Таривердиева, и какая-то певица поет: «Твои глаза, словно двух полушарий карты. Ты когда закрываешь их, погружается на ночь экватор», — через чьи-то колени я вылезу на сцену, нырну за экран, на сцене несколько чудачков, блестя глазами, смотрят кино с обратной, зеркальной, стороны — не говоря ни слова, я двинусь дальше, в предбанник, и откину крючок с наружной двери.

Снежит. Снег махом пересекает сноп света, бьющий с крыши клуба на дорогу к воротам части. Другой сноп света бьет сюда прямо с арки над ними, из динамика доносятся слова новогоднего поздравления, бьют часы — Новый год! — я вижу своих родных, всех, кто мне дорог, и себя я тоже вижу, свою огромную тень на стене казармы, в быстром, нескончаемом промельке снежных теней, — тень моя поднимает руку, пропадающую за срезом крыши во тьме, откуда несется новогодний снег — мне двадцать лет!

Я приближаюсь, дорогая, к первой своей любви — вон эта девушка, что спускается по крутому, нехоженному склону Маячной сопки в снежный, серый мартовский день — тонкая фигурка на белом склоне, черненькая черточка, чуть больше спички, но я-то знаю, что это она, — я слежу за ней, взобравшись на один из двухметровых сугробов, которыми к весне завалены изнутри наши заборы, на его подрубленный край, где по срезу можно высчитать все снегопады, — возвышаясь по грудь над забором, я слежу за этой черточкой, ловко и осторожно спускающейся в низину, где кратчайший путь в школу, здание которой едва угадывается вдали среди последних домов, расползшихся по холмам, — я слежу за ней, и в груди горячо, душно, надсадно, в груди и радость, и ликование, и какая-то смертная тоска, словно это не я, а кто-то другой во мне, взгляд мой перелетает через забор, через укатанную колесами и сапогами дорогу, через крыши одноэтажных домишек, кое-где курящиеся дымом из труб, через ложину, занесенную снегом, так что мелкие ее деревца превратились теперь в низкорослый кустарник — и, уже не думая о последствиях, среди бела дня я одним махом перепрыгиваю через забор, пересекаю дорогу, бегу мимо домов, ныряю вниз, туда, где, знаю я, проложена потайная тропка, и бегу по ней, бегу что есть духу... меня мало волнует, что делается сейчас за моей спиной, скорее — ничего, потому, что все видевшие меня знают, что иначе я не могу, и раз это не может быть иначе, значит, все так, как должно быть — и, если бы я обернулся, я бы увидел, как глядят мне вслед с завистью и поощрением.

Я бегу и думаю о ней, бегу, не уставая, не сбавляя шага, — я мог бы так бежать вечно, знай я только, что там, впереди, она, и рано или поздно я настигну ее, окликну, задышавшись вовсе не от бега, и она удивленно-испуганно обернется, узнает меня, тут же я добежу до нее, уткнувшись лицом в пушистый воротник ее пальто, и она скажет надо мной своим голоском:

— Что ты делаешь, ненормальный...

...Она приехала из Петрозаводска, где оказалась после восьмилетки, и, окончив курсы продавцов, работала в универмаге в отделе женского конфекциона. Ей нравилась ее работа, красивые мелкие вещицы, которые она продавала, заворачивая в бумагу с фирменным знаком, ей нравилось, что на нее засматриваются мужчины, пришедшие купить подарок для своих женщин. По вечерам<sup>c</sup> подружками по общежитию — родина ее была далеко, в Российской глубинке, в заштатном городишке, — она бегала на танцы, и не бывало, чтобы самый красивый юноша на танцплощадке не оказался под конец рядом с ней. Свою власть она ощущала инстинктивно, не прибегая для этого ни к каким уловкам — разве что к напускной небрежности. Но рядом с ней, весело и насмешливо поглядывающей по сторонам, будто интересы ее подружек были ей дороже собственных, рядом с ней каждый начинал испытывать чувство значительности происходящего и, пригласив на танец, вдруг открывал, что ему хочется не столько танцевать с ней, сколько говорить, слышать ее мнение, рассказывать о себе — да, каждый ловил себя на том, что ему интересно рассказывать — так вдруг серьезно и участливо она могла заглянуть в глаза.

Не было вечера, чтобы кто-нибудь не провожал ее до общежития, из-за нее за ближайшими деревьями выяснялись отношения, но и победитель и побежденный были для нее равны — она была сколь участлива, столь и равнодушна. Была у нее и задушевная подруга, крупная, статная, сильная, с темными пристальными глазами, копной смолых волос и низким голосом, которая считала ее ребенком, не отпускала от себя далеко, грозя провожатым, что оторвет голову, если что. Они жили в одной комнате. А когда некто по имени Гриша, студент юрфака Петрозаводского университета, проводив ее после танцев, на следующий вечер встретил у общежития и они пошли гулять, подруга закатила ей такую сцену, что она ушла из общежития и две недели жила у Гриши в комнате, которую тот снимал с товарищем, эти две недели ночевавшим неизвестно где. Они ложились порознь, и первые две ночи она не сомкнула глаз, дрожа не то от страха, не то от неведомого ей волнения, зная одно, что если он подойдет, она умрет. Но он не подошел ни через две ночи, ни через двенадцать, только курил в темноте. Поначалу она еще сторожко следила за полукружьями оранжевого огонька, потом стала быстро засыпать, чувствуя неясное разочарование, и в конце концов рассердилась на Гришу, так что на тринадцатую ночь, трясаясь то ли от холода, то ли от гнева, сама пошла к нему, встав перед ним в одной сорочке и накрест обхватив себя тонкими длинными руками за плечи. Но он приподнял голову, будто ждал этого, и хрипловатым голосом сказал:

— Не глупи, иди спать. Завтра мы с тобой обо всем поговорим.

Она не стала дожидаться разговора и наутро отнесла заявление в военкомат, откуда приходил к ним в универмаг военком и агитировал за службу в армии, обещая и романтику, и хороший заработок, и благоустроенный быт. Вряд ли она тогда осознала свой поступок, скорее ею руководило жгучее чувство мести, жажда немедленно и больно наказать, и, только когда она увидела заснеженные сопки Североморска, весь этот суровый, нахмуренный зимний край, сердце ее сжалось в страхе и запоздалом раскаянии. Гриша писал ей, обещал приехать, жениться и забрать обратно в Петрозаводск, но в это время она познакомилась со мной.

У нее были тускло-золотые волосы, с годами ставшие пепельными, и светлые, чуть блеклые глаза, она делалась красавицей, когда улыбалась, но ее портило напряженное, как бы сердитое выражение, часто, как тень, возникавшее на ее лице. Она была стройна и легка, податлива в танце, хотя в фигуре ее еще проглядывала не совсем скругленная к восемнадцати годам подростковая угловатость. У нее были красивые кисти рук, а говорила она с едва уловимым акцентом, с тем твердоватым выговором, который сохраняется в русской глубинке, — ее же обычно принимали за эстонку. Она танцевала со мной так же, как и со всеми, с кем приходилось ей танцевать до меня, — была в танце хоть и послушной, но настроенной на что-то свое, могла не сразу расслышать обращенный к ней вопрос, но в следующий миг так хорошо и простодушно склоняла голову, чтобы понять, о чем ее спросили, что вот тут-то и рождалось ощущение, что она верный товарищ, добрый спутник, близкий человек.

Порядком одичав в мужском своем общении, мы бросились к этим девочкам слишком поспешно, слишком инстинктивно, мало задумываясь о том, что нам предстоит служить бок о бок с ними, хотя они были вольнонаемными, как бы сверхсрочниками, то есть гораздо вольней нас, — мы бросились в расчете на легкие победы, несложные интрижки, как гусары, расквартированные ненадолго в уездном городишке, многие корчили из себя ловеласов, хотя опыт никогда из себя ничего не корчит, мы бросились, еще не понимая, что эти девушки станут нашими товарищами по службе, сестрами, — время нас поправит.

Я танцевал, конечно, не только с ней, но норовил держаться рядом, так как расхватывали девушек в мгновение ока. Капельмейстер на танцах — главное лицо, именно этим обстоятельством, а не какими-то иными своими достоинствами я объясняю тот факт, что почти весь вечер мы провели вместе. Внешность моя, как тебе известно, вполне ординарная, я не помню, чтобы когда-либо нравился с первого взгляда — обычно мне приходилось прилагать немало усилий, чтобы на меня вдруг взглянули, что называется, с интересом. Полагаю, такого интереса не проснулось в ней в тот вечер, даже когда я пошел ее провожать. Не было его и на следующий день, когда мы столкнулись в столовой, — они, девочки наши, обедали вместе с офицерами. И я, пожалуй, тоже не думал о ней, кроме тех моментов, когда видел ее, хотя мой план действий не претерпел изменений и я ждал только удобного случая, когда она будет одна.

Но такого случая не представлялось целую неделю, и я с трудом дождался до танцев, предвкушая тот продуманный моим неискушенным воображением ход событий, который приводил к поцелую. Надо признаться, дорогая, что на двадцать первом году жизни воображение мое работало достаточно ярко только до поцелуя; дальнейшее, хотя я его давно и мучительно ждал, представлялось расплывчато. Но и поцелуй, который я мысленно срывал с ее губ, был уже как бы неким прегрешением, — вот почему я заранее испытывал перед ней чувство вины, в которой не прочь был тут же признаться, дабы освободиться от того низменного, плотского, что отягощало мои мысли о ней. Вот с таким ворохом чувств и предчувствий я ждал ее появления в клубе. Но она так и не появилась. Именно препятствия уточняют наши чувства, и, промаявшись весь вечер, ложась спать растерянным и жалким, я уже дышал не своим банальным воображением, а живой, пульсирующей болью — она горячо стискивала горло и грудь.

Через дней пять я все-таки подкараулил ее на дороге, благо у меня была увольнительная, и, провожая ее на Маячную сопку до девчоночьих домишек, вдруг понес какую-то ахинею, из коей выходило, что я собирался встречаться «по-плохому», потому что не знал, какая она, а теперь знаю и потому за свои «прежние дурацкие мысли» не имею права продолжать с ней отношения. Мы можем быть только друзьями, кисло талдычил я, — она молчала, послушно в ногу вышагивая

рядом со мной в своей голубовато-серой, как у офицеров, шинельке, в яловых сапогах, в каракулевой шапке, как и большинству девушек, форма ей шла, она слушала, глядя перед собой, и нельзя было понять, что она думает, зато я понял в тот же момент, как выговорился, что я полный, круглый и окончательный идиот,

— Ну что, — сказала она, останавливаясь, — дальше я сама. Пока. — И, махнув мне рукой в варежке, отвернувшись и мелкой легкой побегой поспешила к белеющему в темноте общежитию.

Вот так было положено начало этой долгой истории, которая все-таки не кончилась ни тогда, когда мы развелись, ни гораздо позднее, когда поняли, что нам не вернуться друг к другу... Видимо, она кончится только вместе с нами, раз мы когда-то любили друг друга.

Когда мука становится сильнее тебя и думаешь, как избавиться от нее, полагая, что это еще в твоих силах, можно попытаться отвернуться от того, кто эту муку вызвал, попытаться уверить себя, что и другой человек может стать таким же необходимым и в необходимости своей заменить первого. В этом случае хуже всего тому, кого ты для этой цели избираешь, если только и он, в свою очередь, не избрал тебя как способ защиты от своей собственной, кем-то вызванной муки. Так получилось у меня, когда мы с приятелем, татарчонком Мусой, заменившим на альте Серегу Шубина, пригласили двух девушек провести с нами свободный после ужина час, а кончилось тем, что я в нашем предбаннике целовал одну из них, Галю, которой, наверно, было плохо, и она все откидывала голову и щурилась на свет, чтобы лампочка не описывала над ней широкие круги. Я только и запомнил грудь, шею, губы, молодое гибкое сопротивление и чужой горячий запах, который рождал во мне все, что угодно, кроме нежности.

Я ходил как побитая собака. К стыду примешивалась остренькая, как бритва, чувственная память — то, чего у меня не было с Надей, теперь открылось с другой девушкой, и я вместе с ощущением чужой, случайно соприкоснувшейся со мной судьбы уже вновь испытывал тягу к раскрывшемуся в вырезе расстегнутой рубашки девичьему телу, и в тяге моей не было непонятного, взволнованно возвышенного, что вызывала Надя, а была простая и ясная как день мужская жажда.

А через две недели после разговора в клубе с Надей вдруг снова стало хорошо, и я почему-то все вспоминал, как в детстве гонял по луже две щепочки, вернее, щепочку и дощечку, — я разгонял их в разные стороны, каждый раз замечая, что щепочка норовит завернуть к дощечке и, оказавшись поблизости, вдруг, без моего вмешательства, непонятно откуда взявшимся рывком враз прижимается к дощечке и в дальнейшем пытается плавать вместе с ней.

...Незамкнутость наших отношений длится всю весну, все лето и начало осени, а в месяце марте, с которого я начал рассказ о ней, мы вместе идем на каток. За несколько дней до этого мы гуляем по городу, вечер окунул его в сумерки, которые от обильного свежего снега сначала темно-голубые, потом ультрамариновые, потом фиолетовые; зажглись огни, и оттого, что город расположен на трех уровнях, в темноте огни эти кажутся поднятыми вверх на непомерную высоту; и еще кажется с верхней площадки, что там, пониже, где вровень с нашими ступнями крыши пятиэтажных домов, какая-то другая, не такая, как здесь, жизнь — сюда доносятся голоса и обрывки мелодий, теплые дымки домашних кухонь, шаги и лай собак; мы спускаемся туда, и все повторяется, сместившись на площадку ниже, — так, дойдя до края обрыва, мы увидим внизу, в распадке домов, ослепительное бело-голубое пятно с круговертью маленьких фигурок, раздастся музыка — это каток, сердцевина города, долгоиграющая пластинка юности.

И вот мы на катке. Надя стоит на коньках неважно — учится, но не выглядит смешно, скорее робко, я умиляюсь ее осторожным движениям и охотно, покровительственно катаю, взяв за руку. Звучит музыка, и все это напоминает кадр из послевоенного фильма про дружбу и любовь.

Потом, почему-то один, я оказываюсь в раздевалке, может быть, чтобы перешнуровать ботинок, и вдруг натыкаюсь взглядом на знакомое мне лицо молодой красивой женщины, это Сашкина знакомая, бывшая знакомая — она жадно, вопросительно и чуть жалко смотрит на меня, как будто можно превратить меня в Сашку, нет, она просто осведомляется о его гражданских делах и слушает меня, глядя в сторону, чтобы уж точно выволить из памяти именно его образ, а ничей другой.

— Ну что ж, — ненатурально говорит она. — Я очень за него рада. Будете писать, передавайте ему привет.

— Вы сами напишите, — говорю я.

— Зачем? — усмехнувшись, напрямую смотрит она на меня. Вместо ответа я протягиваю ей руку:

— Давайте покатаемся.

Я протягиваю ей руку с чувством жалости и как бы вины, разделяемой мною вместе с покинувшим ее навсегда Сашкой, но то, как она готовно и решительно дает мне свою, вдруг обжигает меня совсем другим чувством, которому мне почему-то трудно противиться, хотя я делаю вид, что остаюсь в прежнем своем намерении — пожалеть покинутую Сашкой подругу. Рука за руку, как несколько минут назад с Надей, я делаю с ней два круга по катку, даже не зная, видит ли меня Надя, — скользить рядом с такой молодой, красивой, одетой изысканней, чем Надя, женщиной лестно моему петушиному сознанию, и все-таки я без сожаления расстаюсь с ней: она знает, что я не один, я ей сказал об этом. «А, такая глазастенькая», — небрежно роняет она, после чего мне уже не хочется ее жалеть. Итак, считая свою миссию законченной, я спешу к Наде. Но ее нет там, где я ее оставил, — ее нет нигде. Быстрым махом обгоняя кружащуюся массу, я ищу ее — и вдруг вижу в паре с мужчиной, явно военным и явно офицером, она скользит рядом с ним, и хоть заметила меня, но не поворачивает головы, старательно отталкивается, переноса вес то вперед, то назад, как все новички, но падение ей не грозит — слишком уж надежно держит ее за руку этот статный военный. Кровь ударяет мне в голову. Я нагоняю Надю и пробую взять за свободную руку. Она вырывает ее и что-то мне говорит, может быть, «отойди» или «отстань», — этого я не слышу, настолько гудит кровь в моей голове. Высокий, молодой, явно морской, офицер косится на меня, догадывается, что встрял в чужую историю — чихать мне на него, я готов драться, биться с ним смертным боем, но дело не в нем, а в той, что отталкивает меня, — и, хоть я знаю причину, я все равно как бы прав и, настаивая на своей правоте, я ловлю ее руку в варежке и не отпускаю, тогда она поворачивается в другую сторону, говорит что-то тому красавцу, и краем глаза я вижу, как он боком, по-морскому отваливает и, меня галсы, пропадает в переменчивом море толпы.

— Ну что ты еще хочешь? — стоит она напротив меня, раскрасневшаяся, злая, некрасивая, и смотрит тем тяжелым взглядом, который мне не нравится.

— Я хочу, чтобы ты была со мной, — говорю я, сам не понимая, что я в ней нашел.

Но она больше не хочет кататься, она идет в раздевалку, я за ней. Молча мы снимаем коньки, я опускаюсь перед ней на колени, чтобы расшнуровать ее ботинок, но она как бы с отвращением отдергивает ногу. Молча мы уходим с катка, идем по городу, поднимаемся в гору и идем посередке, между верхними и нижними огнями, — я чувствую себя уже не так уверенно, но стараюсь удержать в себе гнев, с которым я подъехал к ней. Разговор наш бессмыслен, она по-прежнему не уступает мне и, поравнявшись с воротами нашей части — ей дальше, в гору, мне прямо, — я чувствую удушающую необходимость освободиться от накопившегося унижения и бросаю ей мерзкое, бранное слово, которое по справедливости следовало бы отнести ко мне самому. Я уже возле КПП, а она, постояв секунду, идет дальше, и в ответ я не слышу ничего. За воротами я взлетаю на сугроб, гляжу через забор на ее удаляющуюся легкую фигурку, разве что в шаге появилось усилие, гляжу — и мне хочется бежать следом и просить прощения.

## 9

На днях прибежал с киностудии молодой человек, назвал себя сценаристом, попросил меня быть консультантом фильма о Рахманинове и тут же подсунул мне свой сценарий. Я пробовал отослать его к Светланову.

— Мы звонили Евгению Федоровичу, — вежливо отвечивал сценарист. — Он в Швеции на гастролях...

— Ну так вернется...

— У нас сроки поджимают. Прочтите, пожалуйста. Очень прошу. Я скажу, что написать... Всего пять строчек...

Вот так. Являются потому, что не нашли Евгения Федоровича.

— Знаете, я так не умею. — Кажется, мне не удалось скрыть, что я уязвлен.

— Вы меня не поняли... — гнул свое молодой человек, глядя на меня пристальными глазами упертого человека из мира кино. — Я имел в виду, что это формальность для заказчика, чтобы утвердить сценарий. А картину все равно придется делать всерьез. Первая картина о Рахманинове...

— Кто заказчик?

— Гостелерадио.

— А кто вас ко мне направил?

— Павел Григорьев, лауреат международного конкурса... Он дал согласие сниматься и сказал, что вы...

Пашка, значит. Почему-то я так и подумал. Вездесущий Пашка, у которого телефон на дому звонит ежеминутно... Когда только он успевает делать новые программы, преподавать, гастролировать, готовить на конкурсы своих учеников и выступать. Блистательный Пашка, один из немногих пианистов, с кем я люблю исполнять Рахманинова.

— Хорошо, — уже для вида помедлив, сказал я.

— Спасибо! — резко вскочил молодой человек и затряс мне руку, преданно, но не без чувства юмора, глядя в глаза. Кто их воспитывал, этих шустряков? Самое забавное, что он все рассчитал и добился своего в пять минут. И мне хочется проворчать стариновское: «Мы были не такие...»

Рахманинов... сейчас вокруг его судьбы, его музыки настоящий бум, все о нем пишут, говорят, теперь вот и фильм снимут, а когда я учился, было иначе. Даже в семьдесят третьем году, в столетнюю годовщину, так и не собрались объявить международный конкурс его имени.

Вообще ему на собственную музыку не везло — и хоть сам он последовательно исполнял ее, сам же не раз, слушая обвал аплодисментов, спрашивал себя: кому аплодируют — ему-композитору или все-таки ему-пианисту, дирижеру. Похоже, каждым своим новым крупным произведением он вступал в спор с публикой за право слышать свое время по-своему, традиционной, чем ей хотелось. Предпочтение было отдано новаторской музе Скрябина. В Скрябине наши меломаны слышали музыку будущего, «музыку небесных сфер», а «земного» Рахманинова называли архаиком, эклектиком, ихтиозавром. Многим, даже на моей памяти, казалось, что он опоздал родиться, что пианизм у него листовский и что благословение Чайковского он воспринял слишком буквально, так и оставшись на всю жизнь его прилежным копиистом.

Его Первую симфонию угробили в зале Благородного собрания, в том самом, где ты, дорогая, была на нашем с Пашкой концерте. При жизни Рахманинова она больше ни разу не исполнялась, а партитура бесследно исчезла, так что симфонию восстанавливали потом по оркестровым голосам. Вторую — кстати, мою любимую — через десять лет встретили более чем холодно. Третью, возникшая еще через тридцать лет, так и не утвердила за ним славы симфониста. Четвертую же он, после долгих колебаний, назвал и вовсе не симфонией, а «Симфоническими Танцами», но и тут ему больше аплодировали сами оркестранты... И вот сегодня традиционный Рахманинов оказывается нам ближе космического Скрябина — время, сделав петлю Нестерова, возвращает нас на землю, к поре, когда тает снег, когда цветет сирень, к тихой радости человеческого общения, к луне в летнем небе, к ночной листве, подсвеченной из горящего окна, и это все — Рахманинов, и, оказывается, без этого нельзя. А его «Литургия Иоанна Златоуста», его «Всенощное бдение»? Уже

за одну лирику, за поэзию интимнейших движений души его можно назвать гением, но он смог гораздо больше — он оживил древнерусский хоровой эпос, что только в наши дни получило наконец должную оценку. Мой приятель дирижер Ч. перед каждым исполнением «Всенощной» на всякий случай читает лекцию. Пропагандист он хороший, слушать его приятно, но, думаю, уже можно обойтись и без вступительных слов. Все и так всё поняли.

...В киносценарии было перечислено довольно много объектов для съемок — и в Москве, и в Ленинграде, и в Новгороде, где прошло детство Рахманинова, и в его усадьбе Ивановке, которую совсем недавно восстановили как музей, и директор этого нового музея до сих пор собирает у бабок по окрестным деревням остатки усадебного убранства и отдирает дореволюционные афиши рахманиновских концертов от внутренних стенок старинных сундуков. Все это в сценарии называлось зрительным рядом. А вместо дикторского текста сценарист предложил монолог Рахманинова. За монолог он больше всего и волновался, даже хотел сам мне его прочесть. Но я сказал, что стихи привык читать глазами.

— Это не совсем стихи... — пробормотал он.

— Не мешайте, — сказал я, и, хотя он заглядывал тайком мне через плечо, я смог сосредоточиться.

#### СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ

Сомненье, недопониманье —  
Ничто меня не удивит.  
Но чем бездонней мирозданье,  
Тем истинней душа болит.  
Бог с ней — со славою и модой...  
Пусть, как и прежде, — в непогоду  
Сиренью озарит.

Сирень, сирень, — в твои бутоны  
Гляжу я вновь ошеломленно.  
Ты юная, а я старик.  
Ты девушка, и я с тоскою  
К тебе склоняюсь головою —  
Я из тебя возник.

Когда бахромчатые грозди  
Губами, веками найду,  
Я вижу тени на пруду —  
Ах, это ласточки и гости,  
Родные слышу голоса  
И смех моих бесценных дочек.  
Смеркается. И, видно, к ночи  
В усадьбу явится гроза.

Гроза степная... Что Бетховен?  
Твой лик так страстен и греховен,  
Что мне не хватит колоколен,  
Чтоб повторить твой стон.  
Какая дерзкая отвага —  
Сражаться с мраком, древко стяга  
Вонзая в небосклон.

Всю ночь она мне будет сниться...  
Но судорожные зарницы  
И отдаленный гром  
Не станут нотною страницей.  
Бог с ней. Я не о том.

Однажды я услышал тон  
И был ему упорно верен.  
Его я слышал сквозь потери  
Друзей, сквозь колокольный звон,  
Сквозь голос Родины, чужбины...  
О, этот тон незаменимый —  
Им в сердце уязвлен.

Пусть он неровный был и слабый  
И не стяжал мне громкой славы,  
И был я одинок,  
Пусть слышал я сквозь безвременье  
Иные веянья и мненья. —  
Знай всякий свой шесток.

О чем грустит сирень в окне,  
О чем задумались деревья,  
Что видит в беспокойном сне  
Моя Москва, моя деревня  
Ивановка, моя родня?  
О, музыка полночных вздохов...  
Сверкнула новая эпоха  
И обожгла волной огня.

Эпоха... Что тебе гроза,  
Что наши тихие прогулки?  
Когда стреляют переулки,  
Прицелившись, глаза в глаза.  
И Родины бессмертный лик  
Все истовее, все темнее...  
Как страшно расставаться с нею —  
Она одна, пусть мир велик.

И понял я тогда с лихвой,  
Когда пропал мой тон, мой голос  
Что, кроме Родины, никто нас  
Не упокоит тишиной.  
Он навсегда пропал во мне,  
Но надолго осталось эхо,

И слышал я, как по весне  
Шуршит солома под застрехой,  
Как мелкий дождик моросит,  
Кивают веточки сирени,  
Как гром сноровистый, весенний  
Округу переворошит...

Я различал все голоса,  
Взлетающие к небосводу,  
И я благословлял свободу  
И голубые небеса.

— Ну как? — спросил он, уловив, что я уже не читаю.

Я обернулся к нему, потерявшему в этот момент весь свой киношный апломб — голенькому и беззащитному, — и, сам не знаю почему, подмигнул.

— Понимаете? — все понял и озарился он. — Рахманинов ведь двадцать пять лет прожил без России, а в его музыке только русское, как и у Бунина... Помните, у Бунина: «Был город, была

зима, был гимназистик Саша...»? А у Рахманинова: «Была Ивановка, были фруктовые сады, было большое озеро...»? Они всю эмиграцию так и прожили, обернувшись назад. Ни на шаг дальше — только воспоминания, и больше ничего. Представляете, какой надо иметь запас души? А сколько бы нового он написал, если б остался. Ведь он сам признавал, что не пишет потому, что лишился корней. Но он их не лишился, то есть не до конца, как упавшее дерево: если хоть один корень остался, оно может сохранить листву...

На том мы с ним и расстались, и я еще некоторое время сидел, размышляя о его сценарии и о музыке, о том, что ее высшее предназначение — утверждать жизнь, человека, ведь музыка единовременна с ним. Она жива, пока он ее слышит, а слыша ее, он чувствует, что живет. Впрочем, об этом гораздо лучше сказал Стравинский: «Музыка — единственная область, в которой человек реализует настоящее. Несовершенство его природы таково, что он обречен испытывать на себе текучесть времени, воспринимая его в категориях прошедшего и будущего и не будучи никогда в состоянии ощутить как нечто реальное, а следовательно, и устойчивое, настоящее. Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во все существующее, включая сюда прежде всего отношения между ЧЕЛОВЕКОМ и ВРЕМЕНЕМ».

И прежде всего я думал о Рахманинове, который не раз повторял: «То, что отнимает жизнь, возвращает музыка».

Теперь же позволь мне вернуться к Наде, к тому взвешенному состоянию, в котором я пребывал еще долго, целых три времени года, то приближаясь к ней, то снова теряя ее или думая, что это так. На днях, перечитав свои дневники, я позвонил ей:

— Послушай, ведь ты меня не любила.

— Как? — возмутилась она, помня, естественно, главное, а не то, что ему предшествовало.

— Ты почти целый год морочила мне голову.

— А, да... — усмехнулась она.

Что ж, прошло много лет, теперь мы можем с ней поговорить и об этом. Теперь мы можем поговорить почти на любую тему и почти безопасно, хотя, дорогая, когда я поздно вечером поджидал тебя у метро, а она подошла, чтобы встретить нашего с ней сына, я почувствовал, что в ближайшую неделю мне лучше ей не звонить. Между тем как дома ее ждал муж. В каком-то смысле на всю жизнь мы с ней остались собственностью друг друга.

Я сделал, ошибку, что залез в свой дневник. Память и ее верный спутник — воображение — изменяют мне, заставляя снова раскрывать эти написанные тогдашним почерком страницы. Жаль. То, что я помню, я рассказал бы лучше, чем они, — даже плоскому время придает глубину и объем. Но, может, есть какой-то, пусть ничтожный, смысл в этих записях — скажем, тот, что они написаны человеком очень молодым. Вдруг ты поймешь его лучше, чем меня? Никому ведь еще не помог чужой опыт, опыт зрелости.

Похоже, я вел записи, только когда мне было плохо, когда я снова терял Надю, — в дневнике пустоты о часах, днях, когда мы вместе и все хорошо. В записях редок сюжет, да это и понятно. Чувство произрастает на любой, даже самой допотопной драматургии, на любом стволе о двух-трех ветках, а то и без них. И в основе его — единственное: борьба за другого человека, настырно постоянная, назойливо целеустремленная — как тут не задуматься о долгосрочных кознях природы, наметившей и в нас двоих свое продолжение. Ничего не подозревая об этом, я уже был послушным орудием ее замысла. Но в еще большем неведении пребывала Надя — всем своим поведением она как бы стремилась возразить очевидному, доказать случайность, необязательность нашей встречи, вариантность своей собственной судьбы, которая готова была переплестись с судьбой Гриши, младшего сержанта Китаева, ефрейтора с командного пункта Птенцова... Что ж, может, она и права, и если я все-таки опередил их, вышел победителем, то не потому ли, что как неболевая единица, как всего-навсего музыкант, человек свободной профессии я мог посвятить Наде больше времени, Наде и своему к ней чувству. Оно разрослось до таких размеров, что уже стало затягивать в свою среду, под свою крону разные, не имеющие к нему отношения события и

факты, прошлое и будущее, общих наших друзей, стихи и музыку и — рано или поздно — саму Надю. Целых девять месяцев борьбы — за это время рождается человек.

Итак, я должен еще обойти нескольких соперников, чтобы наши отношения обрели относительную устойчивость, то есть, чтобы мы оказались в одной лодке, которую еще долго будем раскачивать, переходя с места на место и выясняя отношения, пока в неразличимом будущем не опрокинем ее совсем, не разобьем о прибрежные камни, на которых в позе гриновской Ассоль (признаться, я ничего не понимаю в этом, говорят, хорошем писателе) стоит уменье, крайне самоуверенное от неуверенности создание твоих, дорогая, лет. Благодаря — можно ли благодарить? — этой муравьиной фигурке на камнях я совершил самые большие глупости в жизни, о чем не жалею разве только потому, что ничего не поправить, а, как я уже чересчур настойчиво заверял, и ошибки можно заставить работать на свою цель, но все равно, коль скоро глупости мои принесли много несчастья тем, кого я любил, до конца жизни я буду виноват, да и после конца — позволь мне этот натужный образ — моя вина еще долго будет позвякивать лопнувшей рояльной струной в уже неизвестной мне музыке.

Не знаю, почему меня все заносит вперед, будто я боюсь боли, которая все равно меня ждет, и говорю то ли себе, то ли тебе, дорогая: «Сейчас будет немножко больно»... — как процедурная медсестра. Предупреждение делает боль только сильнее — половина ее приходится на воображение.

С годами я все хуже ее переношу, хотя стал терпелив, как мул, и теперь мало что может меня опрокинуть. Но вместе с тем на какие только хитрости и уловки я не пускаюсь, чтобы только не почувствовать острый клинок где-то в межреберье. В эту ночь мне приснилось, что любимый мой врач Иван Иванович снова делает мне какую-то операцию, — я сижу в коробе флюорографического аппарата, и справа между ребер входит в меня стальной прут, или игла, — она медленно, толчками входит в меня, ведомая хирургической рукой Иван Ивановича, и при каждом толчке я рефлекторно поджимаю ноги от боли; я похож на куропатку на вертеле, и меня мучает вопрос, почему все это делают мне без наркоза, но я молчу и терплю, забившись в холодный белый пластмассовый угол. Ведь эта толстая игла — моя дирижерская палочка.

Думаю, в молодости я мог зараз вынести больший объем боли, потому что она приходила и уходила, но в тридцать три, после смерти отца, она поселилась во мне насовсем, растеклась по венам, включилась в кровообращение, став постоянной и привычной, вот почему дополнительные ее количества кажутся мне уже чрезмерными, и я больше не жду, пока она вывернет меня наизнанку, я просто сбегаю куда-нибудь. С годами у меня возникло больше охранительных инстинктов.

Само слово «любовь», точнее, «люблю», я осмелился произнести только осенью — оно вырвалось из меня как заветная музыкальная тема, как некий подарок ей и всему миру, после чего все окончательно стало иным, и, хотя были еще ссоры, какие-то обиды и недоразумения, главное свершилось, и теперь на какой-то неизвестный срок ничто не могло нам помешать. Помню тот осенний, неожиданно теплый, темный вечер — с южным ветром, веющим запахом сопок, с шорохом листвы — во всех окнах части промыто горели огни, и в этом контрасте черного, теплого, широко веющего, тревожного и — яркого, светящегося, спокойного таилась чудесная, подхлестывающая душу уверенность, что она здесь, что сейчас я ее увижу, — я минуту назад вернулся с оркестром из командировки, с одной из наших точек, где проходило карантин и строевую подготовку молодое пополнение, и пока музыканты мои оглашали пронзительными звуками заскучавшие было стены родного клуба, я рванул к штабу, где она могла быть, — и она и в самом деле была там, — за руку, чуть не бегом протащил ее мимо почетного караула у знамени части, мимо дежурного писаря штаба и возле забора, в том месте, где зимой с огромного сугроба я следил за ней, я признался ей в любви.

— Подожди, — говорила она, будто не слыша меня, и порывалась обратно, — подожди, сумасшедший, — но по тому, как она говорила, я видел, что она все слышит, и принимает, и готова сказать мне в ответ то же самое.

На следующий день было воскресенье. Мы гуляли с ней в загородном заповеднике — оазисе живых осенних деревьев — оранжево-желтых берез, неизвестно как живущих и выживающих под дикими заполярными ветрами. Из средней полосы сюда перенесся благодатный день запоздалого бабьего лета — все вокруг светилось неярким, теплым пламенем, и от деревьев, от наших ступающих по наметам листы ног шел шорох. На одном краю заповедника было небольшое, почти круглое озеро с черной водой, на другом — крутой скальной основой подымались сопки, и по ним, теряя в росте, карабкались березки, так что некоторые, точно отчаянные альпинисты, почти висели, распластавшись корнями и ветками по каменистым обрывам, и мы шли то под лиственной сенью, то через солнечные поляны, и над нами голубело пронзительной осенней голубизной небо, дорогу преграждали валуны, и, поднявшись на их гряды, мы смотрели вниз на каменистое ложе в холодном сыром распадке, высланное изумрудным мхом древности, и, казалось, мы первыми в мире ступали там.

А потом снова выпадет снег, сразу по колено, в низину его нанесет еще больше, в части объявят день лыжника, и все, кто свободен от боевого дежурства, высыплют на склон Маячной сопки, а нам с Надей не хватит лыж, и мы пойдем пешком по склону, то и дело проваливаясь и встречая своих, встретим даже дежурного по части, и он не остановит нас, а только хитровато подмигнет, будто все и всё вокруг согласилось с тем, что мы вместе.

Мне снится, что я бегу к ней ночью, потому что дня нам уже не хватает. Мне снятся мои ночные пробежки по снежной, с крутыми поворотами дороге, мимо занесенных снегом домов; в свете фонарей серебристо роится заледенелая мошка, все искрится, и на каждый шаг отзывается короткое эхо, и волнение реет во мне туда-сюда, как легкий снег в ночном свете. А в ее темной теплой комнате гвоздичный запах протопленной печки, нежный запах ожидания, юной бессонницы, юности.

Мне снятся мои забытые тревоги, страхи, волнения, до сих пор снятся какие-то несданные экзамены, незачеты — учебные мои долги растут во сне, превращаясь в жуткую деканатно-экзаменационную тяготину, из которой нет выхода, — каково было бы не проснуться, остаться там... Во сне я вечно чей-то должник, и еще я мучаюсь мукой странного мира лестниц и лифтов — какие только фантазии фильма катастроф не виделись мне сквозь створки этих лифтов, ловящих меня, не выпускающих, переворачивающихся вниз, чуть не обрывающихся, так что слышен стон лопающихся одна за другой стальных проволок троса; то меня возносит в лифте куда-то, то вдруг исчезают его спасительные стенки, и я вишу, вцепившись в гладкую стену высотного дома, то я ныряю в подземку, и эскалатор без ступенек уносит меня в самую глубь узких извилистых штолен, раскинутых под землей, как щупальца; а то вовсе и не лифт, а поезд, трамвай, скользящий по неимоверному спуску, обрываются рельсы, но падение по наклонной продолжается вместе с — на волосок от гибели — уверенностью, что все должно кончиться благополучно, уже и не понятно, за что цепляются колеса и где колея... только внизу, страшно далеко — маленькие кроны деревьев: и снова парадные, лестничные пролеты, площадки, перила, и все — будто после бомбежки, да так, что не добраться до своей двери — нет ступеней, и только по перилам можно перелезть с этажа на этаж да еще цепляясь за водопроводные трубы, а дальше спокойней, надежней, хотя каждая ступенька западает под ногой, как клавиша, а лестничная площадка наспех сколочена из фанеры, ящиков и диванных валиков, и нужно осторожно, едва дыша и снова повисая на трубах, носком дотянуться до следующей ступени... и лестничные марши, как в старом театре, мимо друг друга, и путь снизу вверх, бесконечный этот путь наверх, вызволенный из подсознания.

Надя уже закрыла за мной дверь, повернула ключ, я протянул к ней руки, и она вошла между ними, и мы стоим, задыхаясь, а сердце продолжает лететь, обрываться, и звон стоит, и теплый, золотой ореол вокруг нас, вокруг нее, вокруг ее волос. Откуда этот звон — ах, это ночная музыка из радиоприемника, — мы танцуем, вернее, мы покачиваемся, не помню, когда я успел снять сапоги — помню только горячую тяжесть ее легких, гибких ступней, которыми она встает сверху на мои — я медленно переступаю, и она, предчувствуя каждый мой шаг и в лад со мной, чуть приподымает ступню. А потом я слышу, как она раздевается, и, закрыв глаза, невольно стараюсь угадать ее движения — у каждой одежды свой шорох, свой шелест, то протяженный, то совсем короткий, вот скрипнули и замерли пружины кровати, я одним махом, как из панциря, вылезаю из одежды, и ложусь рядом, не коснувшись ее. Мы не совсем раздеты — так можно было бы лежать

на пляже, подставляя солнцу то спину, то грудь, — мы поворачиваемся лицом друг к другу и смотрим, и не проходит головокружительный звон. Мне мешает левая рука, а Наде правая, она выпростала ее из-под себя, тыльной стороной ладони невольно касаясь моей груди. А свою я не знаю куда деть, она просто вытянута вдоль тела, так что кончики пальцев ощущают Надино бедро, но я не смею шевельнуть ими.

...Было холодно и, скорчившись, я мчался из клуба в казарму учебного взвода, куда нас перевели, когда стало окончательно ясно, что мы не хозвзвод. После того как разъехались по точкам обученные радисты и радиорелейщики, в ней остались одни мы, музыканты, да еще взвод спортсменов, гордость гарнизона, команда баскетболистов — чемпионов округа. Вечерняя прогулка обязательна для всех, и вот мы выстраиваемся перед казармой, без шинелей, только в шапках и больших рукавицах с мехом внутри. Переругиваясь, ждем какого-нибудь замешкавшегося солдатики — достанется ему за то, что заставляет нас мерзнуть, хотя им могу быть и я: пока я не появлюсь, сержант Китаев, мой бывший соперник, — целое лето между нами шла незримая борьба, с кем останется Надя, — подтянутый, с плоской стройной спиной и какими-то вызывающе стройными ногами, которыми он ступает легко, будто гарцует, будто ищет, кому отдать мяч перед баскетбольным щитом, — пока я не займу свое место в строю, молодцеватый этот сержант не отправит нас на вечернюю прогулку. Он не прихватывает меня, хотя и следит — не прихватывает из мужской своей гордости, но дает понять, чтобы я не лез на рожон — я и не лезу, под скромностью и сдержанностью скрывая торжество победителя.

«Смирно! Нале-во!» — и, согнувшись, головы в плечи, поднимаемся на главную дорогу, топаем по ней, сворачиваем в сторону ворот части и встречаемся с идущей навстречу ротой обслуживания, которая к вечеру вырастает до внушительных размеров. Это большое, многотопающее, шумнодышащее, краснолицее и веселое существо поет вразнобой солдатскую строевую песню про шинель: «Серая, суконная, Родиной дареная», — голова колонны опережает хвост на полтакта, будто песню подмораживает на ходу, задние ряды скалятся и сбивают шаг. Холод продирает до костей. Наконец и мы поворачиваем обратно, вваливаемся в казарму заиндеветшей, веющей морозом толпой — навстречу нам улыбается дневальный из прикомандированных — аккуратненький, выглаженный, на ремне солдатский нож в ножнах, он улыбается нам улыбкой человека, которому тепло и не надо на мороз, только делает озабоченное лицо, чтобы мы не слишком топтали натертый пол. Тут же он подает команду: «Строиться на вечернюю поверку!», и под понуканья дежурного по роте мы выстраиваемся в спальном помещении вдоль спинок кроватей...

Но сегодня метель, началась она вчера, и неизвестно, сколько еще продлится, вечерние прогулки отменены, так как в двух шагах ничего не видно. В музыкантской даже за двумя дверьми слышно, как она завывает, да еще — как на чердаке хлопает оторвавшаяся доска. Надев шинель, шапку, подпоясавшись потуже, я выключаю свет и, стоя в холодном предбаннике, вижу, как в слуховом окне под светом лампочки мечутся потоки снега, бросаясь то в одну, то в другую сторону и мелким треском осыпая стены. Крыльцо занесено, дверь едва подается, и тут же в лицо хлестко ударяет снегом. Какая метель! Прыгая через заносы, я пересекаю плац. В кармане у меня увольнительная — я бегу встречать Надю из вечерней школы, и мне все нипочем. В мгновение ока меня так залепляет снегом, будто я в маскхалате. Дорогу не узнать — там, где она освещена, бугрятся снежные холмы, раскачиваются лампочки, и кажется, что это море. А ветер так сечет лицо, что можно задохнуться, от бешеных снежных потоков кружится голова — ах как хорошо, как вольно, как дико, и сам я человек или зверь?

В городе среди пятиэтажек потише, почти все окна освещены — как скучно сидеть за ними, не то что здесь, на этой пустынной дороге, где полопались лампочки, так что я ныряю из света во тьму, из света во тьму... А навстречу уже идут — это с занятий, я стараюсь не пропустить ни одной фигуры, но Нади среди них нету, и я добегаю до самой школы. Окна классов уже погашены, только в вестибюле свет, и пожилая гардеробщица уверяет меня, что наверху никого не осталось. Как так: неужели я прозевал, упустил? Последними одеваются три молодые женщины — по виду учительницы, — больше никого. Я бегу обратно, я должен нагнать Надю еще на дороге, тогда мне простится, что я ее упустил, не хочу, чтобы она думала, что я могу оставить ее одну в этой метели. «Значит, ты меня не любишь», — скажет она. Я хочу, чтобы она знала, как я люблю ее. А ветер еще сильнее, и знакомая дорога еще незнакомой, словно снежные холмы на ней сошлись в

очередной схватке, и одни погребли под собой других. Впереди в снежной замети наливаются желтое пятно света — это наше КПП, я пробегаю мимо дежурного в окне, ему не до меня. На миг ветер стихает, снег встает ровной завесой, и за ней я вижу знакомый силуэт...

Я получаю то, что заслужил, — выговор, но не оправдываюсь, пусть думает, что я только что свалился с забора, может, так и лучше, чтобы она не знала, как я ее люблю, не надо ей знать, что не бывает утра, дня, вечера, даже если мы в ссоре, чтобы я не следил за ней, не отыскивал глазами в этом перегороженном заборами, домами, деревьями, сопками пространстве, — что для меня видеть ее ежедневно, хотя бы несколько секунд, — это как дышать, иначе я задохнусь, заболую, умру.

У самой ее двери мы прощаемся, от нее пахнет теплом и мокрым лисьим воротником, а вокруг все вихрит, завивает, качается, толкает, осыпая нас, как серебряными гривнами, хлопьями снега.

## 10

Из всех музыкантов второго призыва один только Володька Капелин был женат. В оркестр его взяли по ошибке, не разобравшись, что аккордеон нам ни к чему, однако ему у нас понравилось, и мы всучили ему большой барабан. В Москве его ждала жена Вера, которую он очень любил, женившись всего за полгода до призыва. Тоскуя по ней, он чуть не каждый день писал ей письма, иногда, тоже от тоски, читал нам ее ответы, а избранным, я входил в их число, — даже те места, которые при общем чтении опускал. Из писем явствовало, что и она его любит и что медовый месяц продолжался. У них полгода и возобновится, как только Володя отслужит. Показывал он нам и фотографию Веры, которая, по его описаниям, была красивее — со снимка же на нас смотрела молодая женщина с вытянутым, немного лошадиным лицом, с крупными губами и большими глазами в глубоких глазницах. Волосы у нее были прямые и, наверно, жесткие. Несмотря на грубоватость черт, лицо ее все же производило приятное впечатление именно благодаря выражению ее затемненных глаз — выражение было добрым и даже мудрым, словно она понимала, как тяжело Володьке, и взглядом своим старалась эту тяжесть ему облегчить. Почти каждый вечер Володька доставал из нагрудного кармана гимнастерки заветную карточку и, положив ее перед собой, замирал на несколько минут.

Из Володькиных рассказов выходило, что семейная жизнь — это самое большое счастье на свете, и при хорошем заработке, а аккордеон давал ему, по его словам, «столько, сколько нужно», будущее представлялось ему как абсолютная гармония всего со всем. Вот почему, когда в нашей части появились девушки, мы расценивали как должное, что Володька по-прежнему остается один на один с фотокарточкой своей любимой жены. И когда выяснилось, что он тоже начал ухаживать и девушка его не кто иная, как та самая Галя, Галя Максимова, когда это обнаружилось, Володька пал в наших глазах. Он мужественно вынес наше осуждение, сказав только, что это у него несерьезно, и что дальше разговоров их встречи не пойдут, тем более что в части распространился слухок по поводу Галиного якобы легкомысленного поведения, слухок, отвадивший от нее тех, кто пытался подъехать с «серьезными и искренними намерениями». А Володьку как человека бывалого это не отталкивало, а как бы даже притягивало. Получалось, что и соперников у него не было, хотя, надо сказать, Галя была одной из самых красивых девушек в нашей части — синие глаза ее смотрели дерзко, даже с вызовом, как будто она ни на минуту не забывала о своем женском начале. Если, скажем, она шла рядом с Надей, то прежде всего обращали внимание на нее, а только уж потом, как бы из ее тени, возникала Надя.

Ростом Володька не вышел, но он был хорошо сложен — широкие плечи при узкой талии и крепком, разве что слегка оттопыренном заде. Володька гордился своей фигурой, тем, что есть на что посмотреть, и любил покрасоваться в бане, небрежно проходя от лавки к лавке. Нижняя губа у него часто трескалась от ветров и морозов, и тогда Володька старался не улыбаться, как бы держа ее на весу, отчего у него бывал несколько прибитый вид.

Свое знакомство с Галей Володька объяснял тем, что устал от мужского общества, от портяночного братства и рядом с ней отдыхает душой, словно на гражданке. Это в общем совпадало с тем, что испытывали те из нас, кто заглядывал на Маячную сопку в один из трех домиков разросшегося девичьего общежития, куда можно было позвонить по вран ли случайно

выбранным позывным: «Амур 1», «Амур 2» и «Амур 3». И все-таки я был потрясен, нет — скорее уязвлен, когда однажды, разбудив меня за час до подъема — в руках у него дышала миска горячей поджаренной картошки с камбуза, куда он наведился после ночного свидания, — так вот, я был уязвлен, когда Володька, глядя на меня изумленными глазами, которые в первый раз показались мне красивыми, хотя обычно в них не хватало глубины, — когда он, сунув мне эту миску как подарок — мы любили по ночам поесть чего-нибудь гражданского, «вкусненького», — как подарок или как дань за то, чтобы быть выслушанным — сам он есть, по всей видимости, не мог, — когда он сказал мне, глядя, как я уписываю эту картошку, что, «оказывается, Галя была девушкой». Больше всего меня поразило тогда это слово «была», и, наверно, я так и не донес вилку с хрустящими ломтиками до рта, потому что Володька сделал нетерпеливое движение:

— Да ты ешь, — словно так ему легче было со мной разговаривать. — Понимаешь, — сверкал он глазами во тьме казармы, — я не знал, я не ожидал, она даже не вскрикнула... Ты можешь себе такое представить?!

Что я испытал в тот момент, не берусь точно сказать. Кажется, я испытал к нему ненависть и зависть, а к ней жалость и едкую ревность, будто она продолжала жить на краешке моей души и нравиться мне, и еще — новое для меня чувство схожести моих страстей с чужими страстями; стало быть, мой собственный мир был ничем не лучше мира других, хотя я тут же начал искать возвышающие меня знаки отличия. В тот момент, несмотря на ревность, зависть и уязвленность, я, например, сказал себе, что мое чувство все-таки выше, потому что я сохранил его в чистоте, потому что мы оба с Надей, как еще не согрешившие Адам и Ева, пребывали в раю, я, может, останемся там навсегда, дабы не походить на других, простых смертных, грешных и заблудших, таких, как Галя Максимова и Володя Капелин,

После этой ночи Володька стал со мной откровенен, как никогда раньше, словно ему было не справиться с продолжающимися открытиями; он подробно, до мельчайших оттенков описывал происходящее между ними, словно то, что он знал прежде, не шло ни в какое сравнение с узанным теперь, и эту разность ему нужно было обязательно определить перед кем-то в словах — при этом я не услышал от него ничего скабрезного, циничного, рассказывал Володька с щемящей нежностью, с тихим, ошеломленным восхищением, становясь раз от разу все задумчивей, словно прежнее его представление о жизненной гармонии подвергалось теперь жестокому пересмотру и подталкивало Володьку к поступку, о возможности которого он не мог недавно и помыслить.

Что все это для них серьезно, я понял на одном из наших вечеров в части, где они были вдвоем, — надо сказать, что Володька при всей своей недопустимой откровенности оказался умелым конспиратором. Так вот — они были вдвоем, хотя и находились порознь, и я подглядел такой ее взгляд, обращенный к нему, в то время как он, склонив аккуратную рыжеватую голову к аккордеону, растягивал меха, каким на меня никто никогда не смотрел. Во взгляде этом была не только нежность, но и сама жизнь, отдаваемая полностью, без единого колебания невысокому красногубому солдатику, у которого в глазах часто мелькало что-то светленькое, смирное, баранье... а потом я увидел, как он смотрит на нее, как его маловыразительные карамельные глазки наливаются тягучим медом мужеского призыва, крылатой обволакивающей лаской, — в глазах этих светились теперь ум, воля, уверенность и готовность вести за собой хоть на край света — именно это видела она, Галя, видела и отвечала ему.

Их роман развивался интенсивнее, чем наш. В то время как у нас еще шла экспозиция, у них разработка или Даже реприза — по классической формуле сонатного аллегро — и, значит, недалеко было до коды, то есть развязки, а в таких драматических историях, острота которых определяется темпераментом героев, не бывает простых, облегченных код.

«Бедная Вера», — говорил теперь Володька, больше не доставая ее фотокарточку. Вместо нее в том же нагрудном кармане он носил Галин снимок, но не ставил его перед собой на пюпитр, а держал в ковшике ладони, заглядывая в него, как в зеркало, незаметно для окружающих. Вздыхал он и называл свою жену «бедной» не напрасно, так как в нем стремительно назревало решение и, назрев, выразилось в довольно длинном письме, которое он тоже мне прочел, заглядывая в глаза, словно не вполне доверяя моему устному мнению. Из письма, адресованного, впрочем, не Вере, а

собственной матушке, явствовало, что его брак с Верой был ошибкой, данью незрелой и торопливой молодости, по что теперь он встретил человека, с которым наконец-то узнал, что такое подлинное счастье, и с которым готов соединить судьбу, чтобы идти по жизни гордо и независимо, с поднятой головой — потому что человек этот (он ни разу не назвал Галю по имени и не употребил женского рода, словно так было одновременно и безопаснее и возвышеннее), человек этот вселяет в него силы, каких прежде он в себе и не предполагал. «Поговори с Верой, — следовала просьба, — если она человек умный, она поймет и простит. Если же нет, то я сам буду считать себя свободным от обязательств, данных ей, тем более что за год нашей разлуки я на многое взглянул иными глазами...»

Две вещи вызвали у меня возражение: то, что он усомнился в уме жены, это могло ее оскорбить, и полный туман насчет того, что же именно он понял за год разлуки. Тут была явная натяжка, риторика, но Володька, в первом случае сделав поправку, во втором отмахнулся: «Пусть так и будет. Я верю, мама поможет. По-моему, я правильно поступаю, а?» Я не нашелся, что ответить, пробормотав только банальное: «Любовь всегда права». — «А долг?» — быстро возразил Володя, будто его решение жило в нем еще в дискуссионной форме или будто он обрабатывал аргументы в предстоящей полемике.

С письма и началась кода. Я, правда, был в отпуске в Ленинграде, и только за день до того, как он загремел на самую дальнюю точку, узнал от него подробности. Короче говоря, его матушка, вместо того, чтобы поставить свою невестку перед свершившимся фактом, вместо того, чтобы найти для нее слова утешения, быстро собралась и через несколько дней объявилась в части, да не где-нибудь, а прямо в кабинете командира, куда и вызвали Володьку для принципиального разговора. «Я только увидел ее, — рассказывал Володька, — и мне все стало ясно». Два поживших, уже пожилых человека — наш командир и главный бухгалтер московской обувной фабрики — вместе нашли много резонов, чтобы не входить в Володькино положение, объяснив происшедшее с ним особенностями армейского быта, армейской жизни, а вовсе не фатумом, на что бил Володька, — и раз все объяснялось этими армейскими особенностями, то, стало быть, разрешалось просто, по-военному, по-уставному — и Володька оказался на самой дальней точке, на телефонном узле, где не было ни девушек, ни прочих отвлекающих обстоятельств и где сын такой достойной женщины, воспитавшей его без отца, погибшего при штурме Кенигсберга, получил возможность проявить свои лучшие качества солдата и гражданина. Галю не тронули, ее даже не вызвали в штаб, хотя разгневанная матушка очень хотела «посмотреть ей в глаза», — Галя осталась там же и так же в обед проходила мимо нас в офицерский зальчик, и по лицу ее нельзя было догадаться, что у нее на душе, — она смотрела перед собой так же дерзко, независимо, улыбалась и была еще красивее, и казалось, что все, что говорил Володька своим изумленным, хрипловатым от снедающих его чувств голосом, это не про нее.

Он звонил ей каждую ночь, продираясь через десяток позывных, — ночью линия Точка — Североморск работала только на них, и все телефонисты и телефонистки подключались, чтобы согреться, к этому раскаленному проводу. А потом пошли слухи, что Максимова встречается со спортсменом-баскетболистом, и даже не с одним — и слухи в какой-то степени подтвердились, ее видели с кем-то и в Доме офицеров, и на вечернем сеансе в городском кинотеатре, и даже в Мурманске. Не помню, почему именно на меня пала обязанность изложить Володьке общественное мнение, изложить, чтобы он не звонил, не ждал, не обманывался, не верил, — он был наказан за свою любовь, она же даже не говорила о нем никогда. Мы, я делали это ради него самого, мы хотели ему помочь, и, все-таки когда меня соединили с ним, я пожалел, что влез не в свое дело. Сначала он не поверил мне, не хотел верить, и тогда я, не в силах больше слышать его натянутый, звенящий, растерянный голос, назвал фамилию спортсмена. Ночью он прорвался на «Амур» и спросил у Гали, правда ли это, и она сказала — правда, и он заплакал сквозь шорох и треск поземки в проводах, а все десять телефонистов и телефонисток, отбросив наушники, уставились в темные окна своих телефонных узлов негодующим взглядом.

И все-таки он не поверил и звонил еще несколько ночей подряд, пока вместо Галиного голоса ему не ответил другой, мужской, принадлежавший, впрочем, высокой мрачной девице Пелагее Витютневой.

Отслужив на точке до самой демобилизации, он не застал ее в Североморске — она специально уехала в отпуск, — и он вернулся к своей жене, а через год разыскал Галю в Петрозаводске, где она, как и до армии, работала в универмаге. Надя, которая еще несколько лет переписывалась с ней, рассказывала, что Володька на глазах у Гали выбросил обручальное кольцо в окно, и ночь они провели вместе, а утром он признался, что его жена ждет ребенка, и он не знает, как поступить. Галя ничего ему не ответила и ушла на работу, и он припелелся следом. Целый день он простоял возле прилавка, но из покупателей был единственным, на кого она так ни разу и не взглянула.

Вечером он уехал, а она жила дальше и только через пять лет вышла замуж за того самого спортсмена, который потерпел когда-то полное поражение, а теперь объявился, чтобы взять реванш. Он увез ее к себе в Ригу, но с ним она прожила недолго и оказалась в Норильске, потому что от Москвы до Риги недалеко, и Володька несколько раз туда приезжал. Но и до Норильска он добрался, хотя об этом я уже ничего не знаю, так как переписка двух бывших подруг прекратилась. Зато теперь я знаю другое: что союз их был заключен на небесах, и, значит, ничто земное, точнее, приземленное, не могло ему помешать.

Я потихоньку готовился в консерваторию, а наша духовая машина была моим тренажером. Немногие начинающие дирижеры могут похвастаться тем, что у них под рукой целый оркестр. Правда, лучше всего он был приспособлен для маршей и вальсов, но мы, например, даже Пытались разучивать по присланным Сашкой нотам духовые пьесы Стравинского. Сам маэстро недавно приезжал на Родину, взбудоражив музыкальную общественность Москвы и Ленинграда, и по радио часто можно было услышать его музыку. Стравинского нам не удалось довести до концертного исполнения не только потому, что не доставало нужных инструментов, но и потому, что, как мне было сказано, эти музыкальные идеи если и отвечают запросам времени, то только в широком смысле. Для запросов же текущего дня требовалась все-таки другая музыка, и с этим мне было трудно не согласиться.

Мне был двадцать один год, и я сравнивал, не очень ли отстал от великих. Получалось, что не очень, — Чайковский только в этом возрасте профессионально занялся музыкой, Бородин был вовсе самоучкой, Ансерме стал дирижером в тридцать, к тому же без систематического музыкального образования. Правда, были такие «выскочки», как Роберт Бенни, уже в десять лет вставший за пульт одного из лучших французских оркестров, — не послевоенный ли кинофильм «Прелюдия славы» с листовскими «Прелюдами», с кудрявым ангелочком, получившим дирижерскую палочку, занес в меня несправедную мечту о славе? — но Роберт Бенци был вундеркиндом, а вот гением так и не стал. Я подвигался где-то в многолюдной серединке. Да, у меня не было абсолютного слуха, но зато я с детства пел, не ошибаясь, целые арии и симфонические отрывки. Даже мой соперник по музыкальной школе Володька Михайлов на уроках музыкальной литературы толкал меня в бок, спрашивая, что исполняют, это был мой час. Годом к шестнадцати я так наострился, что узнавал не только музыку, но и дирижеров, и не спутал бы Фуртвенглера с Мравинским, а Стоковского с Головановым. Я даже различал, кто из них любит кларнет, а кто к нему равнодушен, меж тем как и Чайковский, и, скажем, Римский-Корсаков частенько отдавали этому инструменту самые красивые мелодии, чего стоит одна только тема Франчески из «Франчески да Римини»... Да, пожалуй, все русские композиторы любили эту чудесную дудочку — с тревожно-мрачноватым нижним регистром, теплым, нежно-лиричным средним, и с птичьим-пронзительным верхним — в четырех ее октавах были голоса леса и лесного зверя, голос человека и нечистой силы, если вспомнить «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Духовиками были многие дирижеры: Вунде-рер, дававший первые уроки дирижирования Караяну, был гобоистом; то же самое Пьетро Ардженто; на кларнете играли Константин Иванов, Самосуд. А Мюнш признавался, что всегда мечтал купить себе этот инструмент. Что правда, то правда — в ту пору я ревниво следил за судьбами уже знаменитых, уже состоявшихся. Про дирижеров любят рассказывать байки, самая распространенная из них — дирижирование по памяти. Это пошло чуть ли не от Вагнера и стало модой, сейчас многие, особенно молодые, демонстративно откладывают партитуру. Ну и что? А десятки репетиций, проработка партитуры по оркестровым группам? Берлиоз говорил: «Не голова Дирижера должна быть в партитуре, а партитура — в голове дирижера». Если тебя не хотят завалить, можешь быть спокоен — оркестр сыграет, даже если ты подзабудешь пару тактов. Хуже, если кто-нибудь специально решил тебе подгадить. Скажем, валторнист может сыграть любую белиберду, а потом извиниться с невинным видом: дескать, не

туда посмотрел. А это уж твое дело — слышать его, единственного и неповторимого, в составе из ста двадцати человек. Эриху Клайберу «доброжелатели» склеили вторую половину партитуры «Летучего голландца», и все-таки он довел оперу до конца, а было ему всего девятнадцать. Наш Володя Кожухарь в этом же возрасте начал дирижировать «Рапсодией в стиле блюз» Гершвина, не взглянув в партитуру, и вспомнил про нее, когда уже было не найти нужную страницу. Примерно в такой же ситуации меня однажды выручила первая скрипка — слушатели ничего не заметили, но оркестр все, конечно, понял. Состояние у меня было шоковое. С тех пор я не стесняюсь листать партитуру. Как ни странно, с ней я чувствую себя свободнее, она емче моей памяти, и каждый раз мне кажется, что в ней что-то остается на потом.

Впрочем, завалиться можно по причинам, не зависящим ни от тебя, ни от оркестра. Однажды, когда мы выступали на открытой эстраде, порывом вихря унесло мою партитуру и половину оркестровых партий. По рядам слушателей прошел смешок, но нам было не до смеха.

У французского дирижера Игоря Маркевича на гастролях была такая история. Во втором отделении он исполнял Пятую Бетховена. И вот, едва начав, — помнишь: «Та-та-та-та!» — так «судьба стучится в дверь» — он вдруг останавливает оркестр и просит начать заново. Ошеломленные оркестранты гремят по второму разу «судьбу», но Маркевич снова их останавливает и машет рукой в сторону ударных инструментов. Теперь уже и публика в изумлении. И вдруг из-за боковой двери выскакивает красный как рак оркестрант и уносит брошенные им тарелки — они резонировали и мешали Маркевичу. Представь себе унижение быка, которого опрокидывают одним махом навзничь, а он только что летел во весь опор... Есть вещи, которые нельзя прерывать без невосполнимых потерь. Но у дирижера не было иного выхода. Он снова поднял руки — и музыканты, за эти безобразные мгновения ставшие почти импотентами, загрели в третий раз...

Один из ночных кошмаров — партитура как каменная плита. Ее не открыть. И я вожу по ней пальцами, чтобы на ощупь прочесть какую-то латинскую надпись, которая якобы и есть музыка.

Феллини, когда он приступил к своей «Репетиции оркестра», больше всего поразило, как это столь разные в жизни люди, со всеми своими заморочками, недостатками, комплексами, глупостями, могут объединиться в единый, сплоченный коллектив, который своей игрой вытаскивает нас из обыденности. На самом же деле личностные проявления музыкантов, так сказать, кинематографически преувеличены. Профессионалы наговорили ему, конечно, с три короба про то да се, но на то они и профессионалы, чтобы в нужный момент выносить свои собственные проблемы за скобки. Гораздо поразительней другое — что они вместе с дирижером достигают иногда каких-то неземных высот. После этого фильма тебе должно быть понятней, что и как играет и что об этом думают сами оркестранты. Всем хочется быть на первых ролях, хотя первых мест, даже в такой демократической организации, как оркестр, мало. Все мы премьеры на час.

Я же на репетициях стараюсь видеть в них прежде всего исполнителей — они в этот момент для меня равны. Когда у нас все получается, я готов расцеловать каждого — в остальное время я отгораживаюсь от них. Если будет нужно, я, конечно, по мере сил помогу, но я побаиваюсь их личной жизни — стоит мне встать на их место, и я уже не смогу занять свое собственное. Да, я держусь особняком и потому кажусь большинству человеком холодным и даже надменным. Я жестковат, потому что недостаточно силен. Мне кажется, раскройся я чуть больше, и тотчас получу парочку хороших пинков ниже поясицы. В быту я психую, но на работе — почти никогда. Правда, бывали срывы. Однажды я выгнал с репетиции первую флейту — он пришел надравшись. Прошло лет пять, а он до сих пор меня ненавидит — я вижу это по его толстой бесстрастной физиономии. Раз в год он пишет на меня анонимку, но он редкостный музыкант, и я его терплю. А еще было, когда я залепил пощечину альту — он распускал обо мне сплетни. Он тут же мне ответил, попав, правда, кулаком в плечо, так как я чудом успел уклониться, — больше всего меня тогда поразила именно эта живая его реакция. Я прервал репетицию и уехал домой, ожидая вызова в дирекцию и в партком. Я даже заготовил заявление об уходе по собственному желанию. Но вечером мне позвонили и назвали время репетиции. В оркестрантской в тот трагикомический момент было человек двадцать, и — небывалый случай — никто из них,

включая пострадавшего, не проболтался. С альтом мы, конечно, не сделались друзьями, но с тех пор стали, по-моему, внимательней друг к другу.

...Дорогая, когда я тебя вижу, мне и в голову не приходит говорить о себе, — *только без тебя* возникает эта мучительная потребность рассказать о чем-то главном. А где оно — я его еще не нашел. Часто я себя спрашиваю — зачем ты мне нужна? И отвечаю по-разному: чтобы не быть одному, чтобы усилить ощущение жизни, чтобы завидовали друзья, чтобы передать тебе хотя бы толику того, что мне дорого. А может быть, ты нужна мне для того, чтобы я преодолевал свой эгоизм. Как бы я ни любил свое дело — все-таки я служу собственной страсти. А ты заставляешь меня забывать о себе и о своем. Ты меня не любишь — я это вижу. Но если ты уйдешь, я буду обращаться к тебе так же, как если бы ты осталась.

Думаю, начни я въяве рассказывать тебе о первой своей любви, это бы тебе не понравилось. Мы собственники, и, хотим того или нет, нам трудно допустить, что ныне любящий нас человек уже испытывал нечто подобное. Как бы критически мы к себе ни относились, все-таки нам кажется, что чувства, вызываемые нами, более высокого свойства, нежели те, что вызывались другими.

Поэтому я молчу. Но *наедине с самим собой* я не могу не помнить, что уже был влюблен, — и по сердечной муке это так похоже на то, что происходит теперь. Хотя в остальном... Ну что ж, ныне другие времена, да и я совсем иной. Но армию я вспоминаю не только из-за Нади и не только потому, что воинская служба, как оказалось, не дала мне свернуть с избранного в еще хрупком возрасте пути. Было еще одно, не менее, а может, более важное, испытанное впервые под августовским, кишасим звездными мирами небом, когда я спускался в хлопающей по сапогам шинели к подножию сопки, чтобы рейсовый катер увез меня в Североморск, — тогда-то и дала первую трещину скорлупа юношеского эгоцентризма, выпустив на волю мое замороженное страдание, я выглянул наружу и в первый раз увидел мир как то, что вне меня. Я не знал, как жить в этом мире, но я доверился ему и, кажется, не обманулся. Сегодня это можно было бы назвать пробуждением социального сознания. Я ведь до армии, повторяю, и людей-то не знал — не знал, не понимал, сторонился... И вдруг их оказалось так много — изо дня в день, утром и вечером, везде и всегда, люди, люди, люди, сотни людей моего возраста, в таких же гимнастерках, таких же коротко стриженных, с одинаковыми буднями и с одной мечтой впереди... Отвернуться от них, не заметить, снова уйти в себя было невозможно. Если б я и попытался, то был бы незамедлительно вытаснен на свет и водворен на подобающее требованиям настоящего момента место. Может, армия и сделала меня дирижером? Как же случилось, что я, красневший в юности от любого пристального взгляда, цепеневший в общепитовской столовой перед незнакомыми людьми, так что кусок не шел в горло, как же случилось, что теперь я решаюсь предстать пред светлые очи сотни часто незнакомых мне музыкантов да еще тысячи незнакомцев в зале? Конечно, я волнуюсь, но другого выхода нет, и я снова выхожу, вооружившись отчаянным намерением — пробудить у всех вместе и у каждого в отдельности подлинно высокие чувства и, может быть, надежду.

Добро — это и есть надежда. Конечно, все мы очень разные — и познать самого себя еще не значит познать других. Я бы сказал, что чем человек гуманней, тем видней ему эта всеобщая наша непохожесть друг на друга. Ее необходимо принять, не стремясь перекроить на свой лад, — чтобы не заблудиться, достаточно сознания того, что и здесь действуют общие стихии добра и зла. А чтобы увлечь за собой сто, двести, тысячу человек, чтобы ни один не сбился, не сфальшивил, надо, видимо, оставаясь самим собой, любить всех их. Нет, об этом я не догадывался тогда, в казарме, после отбоя, когда во всех ее объединенных общим проходом притемненных спальных помещениях на двухъярусных койках гомозита, постепенно замирая, проваливаясь в инобытие, наша стоголосая рота — мой первый, ничего такого о себе не помышлявший оркестр...

Боюсь, из моих слов ты так и не поймешь, что такое армия, — пока тебе, видимо, кажется, что это что-то вроде санатория с его режимом, который, конечно, надо соблюдать, дабы таким образом поддерживать в остальном почти лишенную душевных забот праздность. Тебе может показаться, что в этой, якобы серьезной, мужской игре, где все участники надели на себя соответствующую форму, слаще всего быть в мирное время рядовым — сказано ведь: «Солдат спит — служба идет». Да, служба идет и во сне, и если мы спим третью часть суток, то, стало быть, проспали целый год из трех. И все-таки сколько их, недосыпов, помню я до сих пор. Это

боевые дежурства, это учения, когда приходилось по четверо суток не вылезать из командного пункта или из машины со специальной аппаратурой, название которой вряд ли тебе что-нибудь объяснит...

Среди нас, музыкантов, мало кто не имел вторую, или, точнее, первую, главную военную специальность. Даже твой покорный слуга за год на точке стал релейщиком, специалистом по радиорелейной связи, пусть скромного третьего, но все-таки «класса». Об учениях я вспомнил не случайно, потому что все имевшие «классность» привлекались к дежурству. Наш командир Тоха Виноградов, вовсе первоклассный радист, похоже, не мог долго оставаться без своей морзянки, так что на КП нередко можно было увидеть его клювастый профиль, азартно склоненный к тюкающему мелкой певучей дробью ключу. А бывало, что и в нашем клубе он, обняв свой холодный, помятый баритон, посылал на высокой ноте в сырое полуосвещенное пространство зала свои точки-тире, будто музыка не вполне справлялась с тем, что умела эта простейшая азбука.

Конечно, в свободное от музыки время резонней всего было бы использовать нас по специальности, но бывало, что наш комроты капитан Серпокpыл отыгрывался сразу на всем нашем взводе без малейшего чувства опаски за последствия. Это когда на станцию приходило топливо для нашей части — уголь или дрова. Тут уж было не до маршей. Разгрузка шла круглосуточно, пока железнодорожный состав не освободится, но я помню только ночную, когда нас поднимали, как по тревоге, и в жиденьком автобусе с заиндевевшими стенками забрасывали на станцию. Подымать среди ночи музыкантов считалось не только не зазорным, но даже справедливым. Ведь делом нашу дневную музыку почти никто не считал.

Дорогая, не буду рассказывать тебе, как разгружают вручную вагоны с огромными сырыми бревнами, скажу только, что не было в моей жизни работы тяжелей и отчаянней, — а вспоминаются мне почему-то четыре платформы с углем, которые мы разгружали ночью в тридцатиградусный мороз, и дул ветер, нескончаемый, черный, тупой, как татаро-монгольское нашествие, впиваясь в лицо сотнями стрел... Я тогда уже прочел «Божественную комедию» Данте, и если сравнение с нашествием кочевников хромает на обе, а то и на четыре ноги, то остановимся на втором — мне, с детства не знавшему физических нагрузок, да и первый армейский год я провел в тепличных учебных классах, а потом в уютной кабине релейщиков, где по ночам в наших праздных наушниках звучали лучшие музыкальные программы мира, — так вот, мне та разгрузка представилась одним из кругов ада, и когда я его все-таки прошел, то понял, что смогу в жизни вынести больше, чем предполагаю. Притом я не был героем — и справа и слева от меня вкалывали двенадцать музыкантов и среди них — три Тохи, и им, конечно, было не слаще моего, но, грешен, в ту ночь я заиклился на своем собственном страдании, только оно одно было важно, и только об одном я молил то ли небо, то ли судьбу, то ли самого себя, того двойника, который всегда, с детства, наблюдал за мной, — чтобы дано мне было это вынести и чтобы это когда-нибудь кончилось.

Помню эти четыре открытые платформы на двенадцать человек, четыре антрацитовых смерзшихся скалы, дымящих угольной пылью, а у нас ломы, кирки и лопаты — и сначала бешеная энергия, пока пальцы не отказываются слушаться, а потом первая слабость и неверие, что это возможно — разгрузить все четыре платформы до утра, а потом снова приступ ярости, пока не заломит поясницу, и снова перекур, и одна надежда, что все-таки вспомнят, пожалеют, пришлют раньше времени замену, но тщедушный наш командир Тоха повторяет, что четыре платформы только наши и выход только один — вынь да положь, и снова мы бросаемся на приступ, а смерзшиеся груды так неохотно разваливаются, а то вдруг взрываются едкой пылью, словно все труды на ветер, который все насаждает, все теснит, молча, как убийца. И потом наступает апатия — и уже не надо ни замены, ни перекура, ни телогреечного тепла в будке стрелочника, и кажется, что единственное, чему можно научиться, — это не распускать нюни, когда рядом молча вкалывают другие.

И почти нереальными в утренней затеми, которая сменила темень ночную, предстали перед нами четыре пустые платформы и четыре горных кряжа рядом с ними... И только у себя дома, в родной, прекрасной, удивительной, чудеснейшей в мире, доброй, как мать, казарме, мы, разглядев себя, расхохотались. Но и после *мытья* мы ходили, как актеры драмтеатра, с подведенными черными бровями и веками. Особенно хорош был туба Лева Певзнер, чья смуглая масть получала

как бы классическое завершение. Через много лет он, выпускник Литинститута, пришлет мне книжицу своих стихов, и, вздрогнув, я снова переживу ту ночь. Только Тоху Виноградова он сделает флейтистом — что ж, по законам литературы он, пожалуй, прав.

Подъем		на		разгрузку,
Подъем	в		три	ноль-ноль.
За		окнами		снега
Блестит канифоль.				
И		кто-то,		проснувшись,
Спокойно				зевнет:
Сегодня				дежурит
Хозяйственный взвод.				
Хозяйственный				взвод
На	побудке		тяжел	—
На	станцию		с	вечера
Уголь пришел.				
Четыре				платформы,
Четыре				скалы...
Удары				кирки
Неумелы и злы,				
Мороз		минус		тридцать,
И		ветер		горазд.
И		долго		сержант
Передышки не даст.				
Какие				приказы,
Какой		там		устав,
Когда		ты		устал,
Ты устал, ты устал...				
И,		главное,		маленький
Этот				сержант,
Он	тоже		не	грузчик,
А лишь музыкант.				
И		флейта		его,
Что	мала		и	легка,
Куда		как		приятней,
Чем эта кирка.				
Но		машет		лопатой,
Колотит				киркой,
Как	будто		бы	даже
Доволен судьбой,				
Как	будто		он	слышит,
Упрямый				флейтист,
Не		этого		ветра
Прерывистый свист,				
Так	что	же	за	музыка
Внятна				ему
На		этой		платформе
В морозном дыму?				

И	соло	какое
С	командую	лад
Выводит	в	киркою
Под скрежет лопат?		
Запомни	той	музыки
Крупную		дрожь.
Ты	с	первого
Ее не поймешь.		раза
Запомни	тот	чистый,
Пронзительный	свист	—
Играет,		играет,
Играет флейтист.		

Почему-то меня снова заносит в детские годы — в них столько разных голосов, мелодий, послевоенных фокстротов, надрывных танго — шарканье ног, поскрипывание портупей и та самая «Рио-Рита», что звучала еще до войны... А еще — знаменитый маленький толстячок, домашний тенор, послевоенный кумир, поющий неаполитанские песни, его дача на нашем пути ко взморью, далеко в глубине заросшего кустарником сада — так что, сколько я ни вглядывался сквозь штакетник забора, видел только огрузший под кем-то шезлонг и краешек белой панамы. «О, не забудь меня, пойми, ты счастье мне дала. О, красота твоя меня совсем с ума свела. Мне не забыть твои, как море, синие глаза...» У нас была целая груда толстых пластинок, крутилась ручка патефона, вставлялась стальная игла — как ее выдерживала та, пусть даже толстая пластинка? — и раздавался сводивший с ума всех местных женщин тенорок: «Скажите, девушки, подружке вашей, что я ночей не сплю — о ней мечтаю...»

Сколько я любил и успел разлюбить и песен, и всяких танцевальных пьес, а те, неаполитанские, живы, и, когда их поют, я снова вспоминаю послевоенные праздники и сирень.

Когда мы переезжали во второй половине мая из города на дачу, она уже цвела роскошными лилово-фиолетовыми гроздьями среди неприбранного участка, над палой прошлогодней листвой, над мусором, осевшим на землю, еще влажную от талых вод. Мы собирали его граблями, лопатами, рыли яму и хоронили в ней осколки разбитых — когда и кем? — тарелок, обломки прошлогодних игрушек, колесо от грузовичка, детский совок, дудочку с заржавленными и обломанными клапанами... Это был целый клад прошлогоднего добра, а потом, еще через год, мне до смерти хотелось его откопать — в старых, брошенных вещах ощущалось время.

...Сирень, цветущая сама по себе, независимо от нашего приезда или неприезда, — я отыскивал в ней пяти-лепестковые соцветья и съедал их, впрок запасаясь обещанным счастьем; не знаю, было ли его потом столько же, сколько этих цветков... Но когда однажды наши гости принесли огромный букет махровой персидской сирени, и ее соцветья, как живые существа, распускали по шесть, девять, двенадцать маленьких щупальцев, страшноватым избытком своим суля не то рай, не то ад, ни одно из них я так и не осмелился взять в губы.

В конце мая гремели грозы. От них я приходил в то тревожно-ликующее состояние, которое узнавал потом каждый раз, когда влюблялся, ну а в ту пору я выбегал на крыльцо (какое счастье, что в такие минуты матушка понимала меня и не запирала дома на ключ!) — я выбегал на крыльцо, залитое низвергающимся теплым потоком, присоединяясь к компании таких же счастливых, и босиком, в одних трусах мы мчались по тропинкам, усыпанным сбитыми листьями, тверденькими щекочущими ступни почками, колкими чешуйками, похожими на надкрылья жуков, — мы неслись, снедаемые страхом и восторгом, неслись, подстегиваемые вспышками молний, громовыми многоступенчатыми раскатами, теплыми плетками дождя. Сирень, березы, березы, ели, каштаны, клены, что еще? — кусты красной и черной смородины и липы, да, липы — все эти деревья и кусты стояли, присмирив, покорно подставив свои весенние кудлатые головы под дождевые струи, на тропинках мерцали, пузырились лужи, и мы с особым удовольствием вонзали в них пятки, так что брызги летели аж до лица — все было пусто вокруг, ни души, пустая Театральная улица, и пустая улица Йомас — только треск сверху, будто кто-то вознамерился

содрать кровлю неба или завалить деревянную церковь в конце Йомас, откуда каждый день звонили колокола; потом церковь исчезнет, и рядом построят открытый концертный зал, где доведется выступать и мне; там же появятся теннисные корты, где я буду пропадать после репетиций, но пока все по-старому, и мне всего семь лет, и я бегу по весенней мокрой земле, и меня жестко и нежно бьет то ли дождем, то ли семенами будущей жизни.

## 11

В сменяющие друг друга снегопады, метели и звонкие до хруста морозные ночи со звездами и лентами, гребнями северных сияний, подвижных, колышущихся, будто кто на них дул там, в высоте, в оттепели и сумеречно-морозные январские полдни, когда каждый куст, каждое деревце — словно поросль ледяных кристаллов, в белые ночи с их бесконечной, медленно перевоплощающейся зарей проходили наши встречи. Однажды мы с Надей встретились даже в Мурманске, где я переделался на пару часов у знакомого музыканта, игравшего в ресторане «Север». Там мы и провели вечер, но гражданский мой вид Наде почему-то не понравился, и, поссорившись, мы возвращались в Североморск в разных автобусах. Об этой, чуть не последней в ту пору ссоре, я много думал, решив наконец, что ссорилась Надя не со мной, а с моим гражданским двойником, у которого, как она чувствовала, другая жизнь, и она ревновала меня к этой другой жизни, будто оттуда исходила угроза тому, что соединяло нас здесь.

И снова я вижу во сне, как в сумраке комнаты белеет ее лицо, она смотрит на меня, пока я не исчезаю за дверью, а снаружи так неожиданно ярко, резко и простодушен свет. Я бегом спускаюсь с тыльной стороны сопки по крутому склону, по свежему, ночью выпавшему снегу, пахнущему весной. Снег словно холодный пух, а под пухом наст, с утра еще схваченный морозцем. Я бегу по следам чьих-то сапог, лают собаки, вокруг бело и чисто, белы крыши разбросанных внизу домишек, все ровно, и четко, и гладко, будто по пейзажу прошла игла гравировальщика....

В конце мая сопки освободятся от снега — и мы снова будем бродить там, а в июне снова будет не заснуть от их пьянящих запахов. Солнце пойдет по кругу — оно пойдет по нескончаемому световому кругу, медленное, с бронзово-золотистым сиянием, а небо выгнется над ним, чем выше, тем больше наливаясь лазурью, небо чуть не поскрипывает от чистоты, как кожа после бани. А между солнцем и этой лазурью целый полог облаков.

Они легки, полупрозрачны, опаловы — пятнышки поволоки — а донца их позолочены, — стоит проснуться верховому ветру, как они вытягиваются из конца в конец во всю небесную ширь, с востока на запад, словно распаханное весеннее поле, дышащее каждой своей бороздой в долгих лучах солнца. А земля тиха, она в тени, свежести и прохладе, и воздух так чист и прозрачен, что любой звук, даже шорох песка под подошвой, ясно отзывается в нем; сопки — это изумрудные застывшие волны, и все же они переходят, переливаются одна в другую, подымаясь и опадая до самого горизонта в плавном, певучем ритме... Там их мхи и травы, их озера-окна, наполненные небом, и все их запахи, там их птицы, пробующие голоса всю ночь, и невидимые под толщей мха родники, подающие свои альтовые, сопрановые голоса. Музыка Сибелиуса, холодок у висков.

В такую ночь и произошло то, что должно было давно произойти. Помню свое первое чувство — испуг. Но я должен был его скрыть, хотя и понимал, что действительность, жизнь, будущее раз и навсегда изменились для меня в этот момент, как, конечно, и для нее, и оба мы были к этому не готовы.

Когда-то, одиноким подростком, я вычитал в толстой дореволюционной книге «Мужчина и женщина», что после удовлетворения своего желания мужчина испытывает к женщине чуть ли не отвращение. Автор, очевидно, был не очень счастливым человеком — меня же поразила просто разность двух моих состояний — высокого, пьянящего и бессильного, распластанного. Так с тех пор я понимал врубелевских демонов — летящего и павшего. На последнюю картину я почему-то не могу долго глядеть, так что до сих пор не знаю, что случилось с ним, — такое вызывает мучение эта бесформенная груда перьев и странных, вывернутых частей тела.

Я не мог отнять ее ладони от лица, не видел ее глаз и не знал, о чем она думает, — а ей почему-то привиделись в этот момент первые поцелуи ночью, на домашнем крыльце, ей было

шестнадцать, а солдату Алеше из части, что стояла в городке, девятнадцать, и они целовались всю ночь, и он был подстрижен «под ежик», и только гораздо позднее она узнала, что всю ночь за окном недвижимым стражем простоял ее отец, который все видел, но не вышел на крыльцо и не позвал в дом...

Было раннее утро, мы вышли на крыльцо. В соседнем общежитии — «Амуре-2» — не светило еще ни одно окно, да и так было светло, в низине лежал полупрозрачный туман, а здесь, наверху, было сухо, тепло и неподвижно. Мы прошли под уклон и опустились на высушенную легким ветром траву. Гранитные глыбы, загородившие нас, еще источали вчерашнее тепло, и было подле них уютно и спокойно.

— А ты помнишь, что ты мне в то утро сказал? — спросила как-то у меня бывшая жена по телефону.

Я не помнил.

— Ты сказал мне — вот и стало в мире одной прекрасной женщиной больше.

— Неужели я так сказал?

— Да, ты так сказал.

— А что ты тогда чувствовала?

— Я была счастлива.

— А как я себя вел? — не удержался я.

— Ты был рыцарем, мужчиной...

— Разве ты не заметила, что я перепугался?

— Ты перепугался?

...С утра ей надо было на смену, и я провожал ее. Мы шли рядом, она просила идти помедленней и положила руку мне на плечо...

Я уже много рассказал о ней, но по сути — ничего. Человек ведь редко таков, как, скажем, у Бальзака, — он переменчив, текуч и внутренне и внешне, с разными людьми он разный, каждый человек — это много людей, и то, что я скажу о ней, это только то, что я смог увидеть. Какая она? Я до сих пор не знаю. Добрая — добрей меня. Смелая — смелей меня. Печальная — с годами в этом я сравнялся с ней. Мечтательная, верная и неверная, цельная, доверчивая, эгоистичная, не выносила одиночества, а с годами его полюбила. Мужественная, хотя подвержена мелким страхам. Ограниченная? — нет, скорее сознательно ограничивающая себя. Трезвая в самооценке. Никогда не считала себя лучше, умнее, выше других. Ее любят, тянутся к ней, считают ее веселой, красивой, выглядит она лет на десять моложе, ее побаиваются — в гневе она не знает границ, хотя и у нее все кончается обычными слезами. Она не скупа, хорошо разбирается в людях, знает их слабости, но умеет не замечать, умеет прощать — простила она и меня, принесшего ей в жизни самые большие страдания.

Чем ближе был срок моей демобилизации, тем чаще она впадала в хандру, говорила по телефону, что ей плохо. Что плохо? Все плохо. И я никогда не знал, связано ли это со мной или нет. Она говорила — нет, не связано, но, когда я, бросив все дела, прибегал к ней, она уже не жаловалась, и поэтому два этих коротких слова вскоре стали для меня как бы сигналом к действию. Ее мало заботило, занят я или нет, — я должен был прийти, и я приходил. Она часто говорила о том, что скоро я уеду и все кончится. Я же уверял, что наоборот, — все только начнется. Она не верила мне и качала головой, глядя мимо меня туда, где лежало наше будущее. Выходит, она смотрела дальше, чем я. Она хотела, чтобы я ее увез с собой. Чтобы увезти, я должен был тут же, в армии, на ней жениться. Отец и мать, для которых мои отношения с Надей уже не

были тайной, советовали сначала поступить в консерваторию. Я уезжал и не брал ее с собой — и это омрачало наши последние дни.

Она поехала в Мурманск провожать меня. Я достал билеты только на завтрашний рейс, и мы мотались по полупознакомым улицам, пили газировку, примеряли Наде осеннее пальто, на которое все равно не было денег, покупали конфеты; мой чемодан лежал в камере хранения, близился вечер, и надо было где-то ночевать. Улицы понемногу пустели, зарядил дождь, и в конце концов мы оказались на окраине в гостинице для военнослужащих.

— Вы что, вдвоем? — высунулась из окошка администраторша.

— Вдвоем.

— С кем это еще?

— С женой.

— Чего-чего? — неожиданно раздался из-за перегородки еще один женский голос, и я почувствовал, что краснею. Надя замерла поодаль, прижавшись к стене.

— Тебе дадим койку, — сказала администраторша, возвращая мои документы, — а что до твоей... жены... — И она сделала попытку высунуться подальше.

— Очень жаль, — сказал я и за руку с Надей выскочил на улицу.

— Ой как стыдно! — протянула Надя, пряча лицо в ладонях. — Господи, как стыдно! Зачем ты все это придумал?

...Целый час автобус полз обратно через сопки, лязгая на остановках дверцами, впуская дождь и холод, прежде чем мы снова оказались в Североморске. Далеко впереди за черным провалом низины высоко стояли в небе знакомые огни Маячной сопки. Мы застучали вниз по скользким деревянным ступеням. Дождь не переставал, дорогу залили лужи, и мы обходили их то слева, то справа. Я решил пройти напрямик через низину, и тут, в стороне от освещенной дороги, тьма сначала поглотила нас, а потом распалась, и в ней стали видны взъерошенные кусты, качающиеся деревца, а дальше — черная гора с огнями.

— Мы не пройдем, — сказала Надя.

— Пройдем.

— А как я на этих шпильках?

— Я тебя понесу.

— Тебе будет тяжело.

— Держись крепче. — Я поднял ее на руки и понес.

Казалось, именно здесь, в низине, и дождь, и тьма, и ветер — все было в полную силу. Не было только тропы, и я не то шел, не то бежал наобум, оступаясь в ямы, ковыряя сапогами кочки, с трудом сохраняя равновесие, останавливаясь, чтобы перевести дух, но не выпускал Надю, только перехватывал удобнее руками и дул дальше. Кусты наконец кончились — впереди виднелась узкая черная полоска земли, где в погожие дни можно было пробежать, почти не замарав каблучков. Теперь все развезло, и я решил взять левее, по мху. Я сделал несколько шагов, каждый раз не без труда выдирая ногу, и вдруг земля раздалась под мной. Надя тихо ойкнула, соскользнула с рук, и я увидел ее где-то в стороне, она стояла надо мной, а я барахтался чуть не по пояс в грязи. Первое, что я тогда подумал — это о белых шерстяных носках, которые надел вместо портянок. Надя позвала меня, и тут только я почувствовал, что происходит что-то странное и нелепое — меня засасывало. С трудом я повалился всем корпусом вперед, чтобы опереться грудью

и выпростать сапоги. Топь нехотя выпускала меня, а я пересекал ее на четвереньках и никак не мог встать, пока не дотянулся до Надиной руки.

— Вот это да! — глубоко и часто вздыхая, говорила она, похоже, в восторге от того, что поризошло. — Ты понимаешь, мы могли утонуть! Вот это да!

Впереди, широко разливаясь, тек неизвестно откуда взявшийся ручей. С камня на камень мы перебрались через него и остановились. Я был по уши в грязи, у Нади же пострадали только ее туфли. Она сняла их и размахивала ими:

— Я этого никогда не забуду! Это потрясающе! Нет, нет, нет! — и мотала головой.

И — странное дело — мы словно освободились от какой-то человеческой слабости, требующей уюта, тепла, спокойствия, будто теперь мы сами стали дождем, ветром, кустами — хотелось кричать, летать, пугая тех, кто за окнами вглядывается в темноту, мы были детьми тьмы, чертом и ведьмой, и все нам было нипочем. Да и тьма ли это? — откуда-то шел свет, он шел не от тех четырех красных огней мачты и не от тусклых лампочек на дороге — светом белой ночи была пронизана эта тьма, зерна света прорывались сквозь полог туч вместе с каплями дождя — дождь и был световым потоком.

Среди валунов мы взбирались по сопке. Справа за дорогой показался освещенный городок нашей части. Там сейчас засыпали мои товарищи, мои музыканты — татарчонок Муса, литовцы Мицкявичус и Витаутас — все альтушки, баритон Валерка Мозжухин, первая труба и наш почтарь Генка Васильев, вторая труба Коровкин, тромбон Колька Галайда, барабанщик Пригода, туба Лева Певзнер, которому от нас постоянно доставалось за подозрительный звук его инструмента. Что они — в самом деле засыпают или промышляют на камбузе насчет «вкусенького»? Кто-нибудь, наверно, еще бродит, несмотря на ругань дневального, а кто-нибудь еще курит или пришивает свежий подворотничок, тишком укоротив свою или чужую простыню, и кто-нибудь из «стариков» мастерит себе «на дембиль» погоны из шерстянки — он ее махнул у каптерщика на плексиглас, из которого все, как чокнутые, вытаскивают самолеты, а кто-то еще читает в ленинской комнате, накинув шинель, в нижнем белье, в сапогах на босу ногу... И вдруг с неожиданной болью я почувствовал, что все это для меня кончилось и кончилось навсегда.

Только в прихожей я разглядел себя как следует. В сапогах хлюпало, и при каждом шаге между пальцев выдавливалась жижица. Пока Надя искала тряпку, из комнаты напротив выскочила маленькая белокурая Нина, работавшая на коммутаторе, и, увидев меня, округлила глаза. Она была в курсе всех историй и не раз выручала и меня и других своевременными звонками в общежитие. Если во время ее дежурства мы с Надей начинали ссориться по телефону, она могла включиться в разговор, чтобы нас помирить. Говорила она быстро, взхлеб. По ее словам, до семи лет она не говорила вовсе и теперь словно торопилась наверстать упущенное. Вместе с Надей они вытерли за мной и велели раздеваться.

Я накинул на голые плечи принесенную Ниной плащ-палатку, взяв в охапку все свое обмундирование, выскочил на крыльцо и, хлопая голенищами, припустил к ручью.

На дороге, за домишками, в слабо освещенной тьме — везде было пусто. Родничок, сочившийся тонкой струйкой, теперь было не узнать. Это был мощный поток, ворочающий камни; чуть ниже мостка он обрушивался вниз настоящим водопадом, так что на мостке этом — широкой гибкой доске — от стремительного движения воды кружилась голова. Поток бил в тяжелые валуны, на них, вздрагивая, напознала ноздрястая пена, и все гудело, и плескалось, и несло мимо. Кто-то бежал ко мне, позвякивая ведрами. Это была Надя, тоже в плащ-палатке, в темноте из-под нее белели ее ноги.

— Ты здесь! — протянула она. — Как здорово! Только не упади. — Она нагнулась и потрогала воду. — У! Холодная!

Я шагнул на берег, притянул Надю к себе за края плащ-палатки и поцеловал. Когда я целовал, она смотрела в сторону, будто ощущение природы — ночной и дикой — было в ней сильнее.

На одной электроплитке уже шипел полный до краев чайник, на другую поставили ведро. В коричневатой воде кружились кусочки мха. Надя снова побежала к ручью — плащ мы все-таки тоже извозили, от помощи она отказалась, и я понял, что она хочет еще раз побыть там.

Полоскание в ручье мало что дало, и, наверное, целый час мы стирали в цинковой ванне, а потом соорудили хитроумную конструкцию из стульев и табуреток, чтобы разместить над плиткой как можно больше одежды. Наконец все висело, парило, пахло торфяной водой, хозяйственным мылом, было поздно, и хотелось спать.

Надя разобрала постель, и я закрыл дверь на ключ. Но легли не сразу — перегорела плитка, и мы долго возились со старой спиралью, отталкивая друг друга. А когда обнялись, все уже было не так, как ждали, словно главное уже произошло, и нам оставалось скорее привычное — чуть обидная привычка после дневной усталости, усталая нежность, вслед за которой мы сразу заснули, не разнимая рук. Ночью я несколько раз просыпался от того, что в комнате горел свет, видел, как Надя возится у плитки с отверткой в руке, и я удивлялся молочной белизне ее тонкой фигуры с по-детски розоватыми стройными ягодичками — удивлялся ее обнаженности, впервые открытой мне на свету, и хотел, чтобы она скорее вернулась ко мне, или сам собирался встать и помочь, но тут же, не дождавшись и ничего не сказав, снова засыпал.

Проснулись мы одновременно. От ночи ничего не осталось — все светилось, блестело, ветер был мягкий, теплый, пели птицы, пахло влажной, нагретой травой и мхом. Мы снова пустились в обход. Туман в низине еще не совсем истаял, и в нем казались прозрачными стеклянно поблескивающие купы деревьев. Мы шли вдоль склона, по тропинкам, изрытым руслами ночных потоков, прыгали через еще не просохшие мутные лужицы, балансировали на камнях над бочагами.

В Мурманске мы едва успели к автобусу в аэропорт. Он тут же тронулся, словно только нас и ждал, плавно приседая на рессорах, свернул к мосту, проскочив его, оказался на другой стороне Кольской губы и, набирая скорость, устремился вдоль берега. Я видел в последний раз остающийся за краями, судами, пакгаузами освещенный солнцем Мурманск. Вода была взбудораженно синей, по ней спешили буксиры, и, ослепительно вспыхивая при разворотах крыльями, носились в воздухе чайки. Ветер засипел в щелях салона, потом смолк — автобус повернул в сопки, скрылись море и город, как будто праздник кончился, — только серовато-зеленые сопки подымались и опадали до самого горизонта. Почти всю дорогу мы молчали, Надя устала, побледнела, под глазами обозначились тени. Она пробовала задремать, припав к моему плечу, но автобус трясло. От ее плаща щемяще пахло нашей ночной стиркой.

На краю аэродрома, в небольшом деревянном строении, выкрашенном в черно-белую клетку, уже шла регистрация пассажиров. Очередь почему-то нервничала, напирала, и администратор с толстым потным лицом раздраженно уговаривал не торопиться. И опять я раздваивался между ликующим предчувствием своей новой жизни, которая ждала меня на расстоянии всего нескольких часов, и необходимостью это скрывать перед лицом нашей разлуки. Я ждал Надю в Ленинграде через шесть месяцев, когда кончится срок ее службы, хотел, чтобы она тоже поступила учиться и мы были бы вместе, но то, что мы сейчас расставались, было для нее важнее.

На аэродроме заметно стемнело, но сами сопки, окружавшие его, были еще освещены холодным лимонным светом. Появилась стюардесса, и пассажиры, нетерпеливо топтавшиеся перед летным полем, оживились. Надя с отчаянием схватила мою руку двумя руками, и из глаз ее разом покатились слезы. Я поднимал поцелуями ее лицо, целуя в покрасневший нос, в спекшиеся губы, в горячие, соленые щеки, я успокаивал ее, но она вряд ли слышала меня, думая, зная что-то свое. Она единственная плакала в той толпе, на нас оглядывались, и я говорил ей, что так нельзя. Она послушно кивала мне и делала судорожные вздохи, чтобы остановить слезы, но они лились сами по себе, вместе с тушью, и она уже не придерживала пальцами мокрые ресницы. Платком я вытирал ей щеки, а она смотрела на меня так, будто в следующий момент я должен был погибнуть. Она дошла вместе со мной до трапа, не отпуская моей руки, я торопливо прикоснулся к ее губам, сказал «держишься» и под сердитым взглядом стюардессы легко взбежал по трапу.

В салоне сложно и хорошо пахло — чем-то дорогим и забытым, гражданским. Я придвинулся к иллюминатору и увидел Надю. Она стояла, закусив губу, и больше не плакала — только казалось, что ей трудно дышать. Лицо ее было бледным, размытым и скорее не несчастным, а строгим.

В нутре самолета тонко запело, и тут же включились турбины, отдавшись мелкой дрожью в корпусе, затем самолет еще больше задрожал, тронулся с места и покатил на взлетную полосу, потом затормозил у какого-то рубежа, развернулся — и вдруг сразу высоко и сильно, в органную мощь запели турбины, и он рванулся вперед, вздрагивая крыльями. Казалось, мы уже летим, но самолет поднялся только в следующее мгновение и был уже так высоко, что я едва успел различить косо проваливающийся клетчатый домик. Но Надиной фигурки, узнаваемой мною с любого расстояния, я так и не увидел. «Вот и все», — подумал я со странным чувством, что никто в самолете ничего не знает ни про меня, ни про Надю, ни про то, что с нами произошло.

## 12

Оказывается, я многое подзабыл, а сейчас перечитал дневник, вспомнил — и мне грустно. Я даже готов пролить скупую слезу. Ведь то, что представлялось мне тогда всего лишь подготовкой, вступлением к чему-то главному, на поверку оказалось самым значительным и потом больше никогда не повторилось — и не потому, что изменились обстоятельства моей жизни, а скорее потому, что я сам стал другим и уже думал и поступал по-другому. Не скажу — лучше или хуже, но по-другому, как другой человек. Мы сами редко догадываемся об этой перемене и ведем счет от какой-нибудь одной отправной точки то ли детства, то ли юности, хотя с тех пор многожды менялись сами и меняли направление, так что на самом деле назад видно только до последнего сделанного нами поворота.

«Много воды утекло с тех пор, — писал гений моей юности Марсель Пруст. — Лестницы и стены, на которой я увидел медленное приближение отблеска свечи, давно уже не существует. Во мне тоже многое погибло из того, что, мне казалось, будет существовать всегда, и возникло много нового, родившего новые горести и новые радости, которых я не мог предвидеть тогда, подобно тому как тогдашние горести и радости с трудом поддаются моему пониманию в настоящее время».

Все чаще у меня возникает ощущение, что ты меня не слышишь. Неужели я говорю в пустоту? Таким же пустым был переполненный зал после третьей части Пасторальной симфонии Бетховена. Знаешь, за три года на Севере я не видел ни одной настоящей грозы. Наверно, потому, что там нет сильных контрастов теплого и холодного воздушных потоков. Небо чуть ли не грозовое, а ничего не происходит или — что-то жиденькое. Так и у меня получилось — я грозу плохо распланировал по звучности и отгремел раньше, чем ввел в бой главные силы. Никогда не забуду то усердно-деликатное покашливание в паузе перед финалом. Кода вышла почти грандиозной — за нее мне и хлопали, всё великодушно простив, но с тех пор я ни разу не открывал партитуру Шестой.

Я положил себе прожить еще лет двадцать — эти годы нужны мне уже не для восхождения, а для закрепления понятого: вряд ли я пойму больше того, что понимаю сейчас. Но мне хочется перенести мое понимание на большее пространство. На эти двадцать лет я сам у себя в долгу. Скоро я начну стареть, и мысли мои помрачнеют — это неизбежно. А я хотел бы задержаться на том, что утверждаю теперь. Малер часто повторял на репетициях с оркестром: «Это настроение надо закрепить». О как бы этого хотел и я. Жизнь, оказывается, короче, чем представлялось раньше, по сути, она равна вдоху и выдоху. Господи, как не хочется выдыхать? Лучше задохнуться. Именно ты заставляешь меня так остро ощущать свои годы. «Нет, ты не старый, — сказала ты мне, — и на лице у тебя не морщины, а следы страстей. Мне только не нравится, что их так много». Страсть — какое громкое слово. Но и страсти выдыхаются. Я тут же вспомнил «Портрет Дориана Грея», о котором ты, оказывается, не имела ни малейшего представления, и теперь ты иногда чересчур уж пристально вглядываешься в мое лицо. Что ж, с годами оно не становится лучше и все меньше меня устраивает — я это замечаю по фотографиям. Ну да бог с ним. Как говорил Монтень — наши намерения являются судьями наших поступков.

Иногда меня вполне доброжелательно упрекают за то, что я мало исполняю новой музыки. Кому-то хочется, чтобы моя творческая анкета была более уравновешенна. К старости я наверняка исправлюсь, а пока я действительно служу прошлому, то есть настоящему с помощью прошлого. Я только-только открыл для себя Моцарта, чудо его произведений, их внутреннее единство. Даже частности у него насквозь пронизаны единым намерением. Мощная подспудная мысль, скорее не мысль, а некая глубоко прочувствованная вибрация жизни — все это достояние только подлинного. Магически оживающая душа творца... Ее-то трепет и ощущаешь в не поддающемся разумению гармоническом и мелодическом строе.

В искусстве надо уметь различать тех, кто говорит, и тех, кто болтает. Гениальное — это целостное видение мира, оно всегда активно и обращено к нам как зов, оно вызывает на диалог, наш ответ — это его эхо. А болтовня безадресна и отклика не имеет. Да, я хочу закрепить прошлое в чувственном сознании нынешних слушателей. Ведь что греха таить — «образованных» все больше, а культуры все меньше. Ее превращают в довесок, без которого якобы можно обойтись. Филармоническое дело действительно трещит по швам, лауреаты международных конкурсов играют по музыкальным школам и училищам. А человек, с детства не впитавший в себя классику, это уже не тот человек, которого мы хотим воспитать.

Один известный виолончелист мне рассказывал, вернувшись из ГДР. Жил он в Цвиккау в гостинице, а там что-то с туалетом случилось. Он спустился вниз и спрашивает у портье, где сантехник. Тот показывает на дверь в конце коридора: «Битте шён». Виолончелист подходит к двери и слышит бетховенское инструментальное трио. Он в растерянности оглядывается, а портье ему кивает, смелее, дескать. Он открывает дверь, извиняется, говорит, что, видимо, не туда попал, что ему нужен сантехник. А скрипач откладывает скрипочку и говорит: «Яволь».

Итак, двадцать лет назад я подружился с ныне известным музыковедом С; мы совсем взрослые, мы снимаем комнату на двоих. Ты его почему-то сторонись, как сторонятся дети молчаливых, мрачноватых дядек. Ты просто его не разглядела, хотя и обладаешь способностью многое ухватывать с полувзгляда. У него добрые, печальные глаза, он считает, что жизнь не удалась, что все суета сует, и смотрит на тех, кто еще обуреваем сильными чувствами, как на неандертальцев, — так он смотрит на нас с тобой, дорогая. Наверно, ты это почувствовала, и раздражение мешает тебе быть объективной.

Но в ту далекую пору мы друг друга еще не раздражаем, у нас есть плохонький кабинетный рояль — подарок нашего общего приятеля Жеки К., ныне известного уролога; из нас он теперь самый, так сказать, обеспеченный, собирает антиквариат — бронзу, картины, — тогда же, как и мы, он человек бедный и легкомысленный, достаточно легкомысленный, чтобы отдать нам рояль, простоявший на бабушкиной даче с блоковских времен. В отличие от своей бабушки-пианистки Жека не проявлял ни малейшего интереса к серьезной музыке, и если рояль, то есть его «экстерьер», и сохранился, то, видимо, благодаря своим бронзовым ножкам и бронзовому пюпитру — не они ли подспудно подготовили будущую Жекину любовь к благородному сплаву?

Рояль этот и сейчас стоит у моего консерваторского друга С. — пора бы нам уже сходить к нему в гости. К Жеке прорваться труднее — антиквариат дорожает, а пациенты обрывают не только рабочий, но и домашний телефоны. Он никому не отказывает, исполненный чувства солидарности с нашим страдающим братом. Потрепанную предстательную железу он называет болезнью номер один двадцатого века — видимо, так считать ему необходимо для самоутверждения и для поддержки своей неприязни к тем, кто, по его мнению, в первую голову в этом виноват. Имея академическую подготовку, он все же вынес из брака такой тяжелый опыт, что при нем лучше не говорить о женщинах. Между нами, вся его коллекция живописи и скульптуры — баракло, но для него не может быть бараклом то, что дорого стоит. Он заядлый автомобилист и уверен, что погибнет за рулем, поэтому дома во вмонтированном в стену сейфе хранится его завешание, как бы индульгенция на том свете за меркантильную прижизненную слабость, — он завешает деньги от продажи своей коллекции Минздраву на строительство нового урологического корпуса его больницы. Я ему советую сделать это сейчас...

Так вот мы и обитаем с С. в снятой нами почти двадцатиметровой комнате, и по вечерам, если мы не в оперной студии, не в капелле, не в филармонии, если мы дома, к нам кто-нибудь

непременно приходит, потому что лишь у немногих есть такие замечательные комнаты, а уж по выходным у нас просто праздники с танцами и магнитофонной музыкой, где и Окуджава, и ранний Высоцкий, и Рэй Коннифф, и первые пластинки «Битлз». Наде я пишу исправно через день и раз в неделю бегаю на переговорный пункт — чтобы услышать ее голос. Я люблю ее, но она так далеко, в другой жизни, что в письмах я стараюсь не описывать свою, тоже другую жизнь, зная, что иначе ей будет больно, но умолчанием своим, милосердной утайкой все-таки, видно, затемняя чистый, открытый смысл любви. Мне нравятся и другие девушки, наши консерваторские, и я не прочь, как мои друзья, выскочить во время наших жарких танцев (мы танцуем шейк, твист и джайф) с одной из них на лестницу — я креплюсь, ведь я люблю Надю, и это мне дорого, но уже возникает неизвестно откуда взявшаяся тема жертвенности, несвойственного мне аскетизма, это омрачает мои мысли, и я все чаще вспоминаю Володьку Капелина. Письма мои становятся экстатическими, чувственными — я воспеваю страсть, ставшую абстрактной, и боюсь реального искушения. Я как будто еще не знаю, что страсть всегда конкретна. И все-таки через месяца три я согрешу и вернусь домой с таким побитым видом, что мудрый С. сразу обо всем догадается и впервые посмотрит на меня тем жалеющим взглядом, который потом прирастет к нему навсегда. Прежде чем стать музыковедом, он с пеленок играл на альте, а лет в пятнадцать ударился в философию, чтобы опровергнуть папочку, десятилетиями преподававшего свои неколебимые взгляды в одном из вузов. Родителя он так и не успел опровергнуть, тот вместе со своими взглядами благополучно ушел на пенсию, а со мной ему спорить было неинтересно — я быстро уставал от мыслей, не подкрепленных никакими чувственными ассоциациями. И все-таки я ему кое-чем обязан: мои далеко не обширные познания в этой области формировались не без его воздействия, не без той литературы, какую я находил на его столе. «Истина новой музыки, — читал я, — состоит, по-видимому, в том, что она посредством организованного отсутствия смысла опровергает смысл организованного общества». Так под восклицательные знаки моего друга на полях машинописного перевода Теодор Адорно, как и его литературный адепт Адриан Леверкюн, расправлялся с государственно-монополистическим капиталом.

Надя приехала в конце января. Помню первое свое впечатление, вернее, ощущение, — что я писал и звонил другой девушке и думал о другой, но в следующий момент эта и другая Надя совместились, и я уже не копался в себе, а включился в ее проблемы, которых было много и которые она одна решить не могла. Вообще тот год состоял из одних проблем и забот, как будто любовь приняла новую деловую форму и только в ней и могла себя обнаруживать дальше. Помню озадаченное лицо моей матушки — она полагала, что эта история уже кончилась.

В Ленинград Надю направить из части не могли — направили наугад, в Приозерск, так что встречал я ее на Финляндском вокзале, обегав предварительно с десятков мест, куда принимали на работу по так называемой лимитной прописке. Работы эти были рассчитаны в основном на мужиков, но я утешал и себя и ее тем, что она все равно поступит в вуз и получит общежитие. От того времени до сих пор осталось ощущение холода, настоящего зимнего холода, когда мы мотались по пригородам в поисках приличной работы, пока наконец не остановились на военизированной охране с общежитием — Надя хорошо стреляла, да и дежурить надо было через двое суток на трети. Но вскоре Надя стала говорить, что ей жутко, особенно по ночам, на наружном посту, а тулуп такой тяжелый, что тебя десять раз прикончат, прежде чем вскинешь винтовку. А однажды на опушке леса, как раз возле складов, которые она охраняла, раздались шаги и тяжелое дыхание, и страх, испытанный ею в тот миг, останется в ней надолго. Это был громадный лось, посеребренный луной, но ей казалось, что приходила смерть, что это какое-то недоброе предзнаменование. И мы снова искали ей работу, и в памяти так и остались бесконечные зимние пригороды да вокзалы, где в буфетах пахло отдающим ячменем кофе в граненых стаканах, к которым прилипали пальцы... Поездки наши заканчивались в сосисочной на Невском возле улицы Восстания, где готовили острые мясные блюда, чаще всего мы выбирали чанахи, и, пока отогревались в тепле, мне почему-то казалось, что это продолжается наша безоблачная армейская жизнь.

Иногда Надя оставалась в нашей комнате ночевать — С. уезжал к своим родителям, но делал это неохотно, и я чувствовал, что между нами проскочила кошка. То ли он считал, что я морочу Наде голову, вместо того, чтобы взять и жениться и дать ей свою прописку, то ли ревновал меня к ней, то ли сам был немного в нее влюблен — теперь уж я и не вспомню, да и не хочу вспоминать. В первую после ее приезда ночь меня обожгло, словно щелочью, и она сказала, что это потому,

что мы были долго разлучены, и мы просто лежали, обнявшись, и почему-то не было счастья. И все то время его не было, оно как бы отступило на второй план перед более важными, более существенными вещами.

Наконец мне удалось — не без помощи будущего светила урологии — устроить ее в одну из городских аптек, Надя окончательно решила поступать в Фармакологический институт, и в городе же она сняла комнату. Мне уже не надо было уговаривать моего друга С. погостить в конце недели у родителей, и у нас с ним все вроде наладилось, правда, однажды Надя сказала мне, что видела его у своей аптеки, которая была далеко в стороне от его обычных маршрутов, — он долго стоял, вглядываясь в большие зеркальные стекла, но так и не вошел, и мы с ней так никогда и не узнали, с чем он приходил. И хотя мне ничего не стоит набрать сейчас его номер телефона и спросить, я этого не сделаю, несмотря на гарантированную стабильность наших дружеских отношений.

Теперь я часто прибежал к ней, как когда-то в армии, и, как в армии, нам приходилось быть изощренными конспираторами, чтобы о моих визитах не донесли хозяйке, которая сдавала комнату с неременным условием «не водить», боясь как бы соседи не настучали на нее в ЖЭК. Однажды поутру в запертые двери раздался реальный стук — это могла быть только она, — и мне пришлось залезть в поддванный ящик для постельного белья. Я в нем едва уместился, так что чуть не держал на себе тяжелый пружинный верх, опасаясь только одного, как бы хозяйка не уселась на диван, но это была не она, а старушка из комнаты напротив, которая в силу своей патологической деликатности не могла без спроса позаимствовать соль с Надиного стола. До сих пор помню удушающую тяжесть сверху и в лучике света, пробивающемся сквозь какую-то щель, прозрачные шкурки замороженных дихлофосом клопов...

Еще помню белую ночь, мы шли с Надей через весь город с Васильевского острова, где жили мои родители, до Московских ворот, где жила она, город был тих и светел, на Исаакиевской площади цвела сирень, и высокое лучезарное небо было похоже на то, над Североморском, и, придя к ней в шестом часу, мы долго не могли оторваться друг от друга, словно все только начиналось, хотя скорее всего это было наше прощание, прощание с тем, что прежде объединяло нас. Но мы не расстались, а продолжали жить дальше, но это была уже другая жизнь, о чем мы смутно догадывались.

Тут я должен вытащить на свет заявленного где-то ранее ефрейтора Птенцова, демонстра-искусителя, дьявола в кирзовых сапогах. Он витал над нашей армейской любовью, оставляя в воздухе запах сапожного дегтя. Он прилетел к Наде, когда я улетел от нее, — выждав для верности с месячишко. Я не знал, что, встречая меня с Надей, шагая мимо в строю на командный пункт, он оглядывается нам вслед тоскующими глазами и где-то там, склонившись над электронным планшетом, думает обо мне с ненавистью. Он был хитрей и опытней меня, недаром искуситель, и Надя сама не знает, как между ними произошло то, что было между нами, она чуть не теряла сознание, попадая в сверкающее черным посверком дьявольское его облако. «Это было сильнее меня, — говорила она мне. — А потом я его ненавидела». — «А потом?» — спрашивал я, спрашивал без дыхания, словно мне на грудную клетку, как на бочонок, набили парочку железных обручей. «А потом он снова приходил... А тебя не было. Ты уехал... Ты не захотел взять меня с собой. Ты уехал навсегда — я так думала. Я не верила тебе. Ты сам во всем виноват». Может быть, может быть, она была права. Она рассказала мне это еще зимой или ранней весной, в феврале или марте, рассказала не только из потребности в правде, а и потому, что моя страсть не вызывала в ней отклика, какой она познала с другим, и она хотела, чтобы я мог это так же, словно только таким образом можно было заслонить другого, и я, потрясенно проглотив свое унижение в благодарность за ее честность, старался то ли возвыситься, то ли опуститься до демонизма, но, видимо, мои старания были слишком заметны, чтобы одарить ее счастливым самозабвением.

«Я люблю тебя, — говорила она мне, — а его ненавижу. Я только тебя люблю, ты — часть меня, ну, как моя рука, например. Не могу же я не любить свою руку...» И я верил ей, втайне все же подозревая, что ненависть — более яркое, более провокационное чувство.

Однажды, уже осенью, мы собирались вечером в филармонию, Мравинский отдавал два отделения Вагнеру — она позвонила мне раньше договоренного, и я услышал какой-то надломленный, срывающийся ее голос:

— Приезжай скорее, прошу тебя...

— Что случилось? — спросил я, из всех охолонувших тогда душу предположений так и не представив того, реального.

— Приезжай. Не могу сказать. Возьми такси.

— С тобой все нормально? — спросил я.

— Да... — не сразу ответила она, но и тут я не вспомнил о птичьей фамилии моего оперенного черным соперника.

А это был он. Вернее, только послед его, дегтярный запах да фиолетовые пятна поцелуев на белой Надиной шее. Ее всю трясло, но глаза были сухи и полны уже не ненависти, а презрения. «Негодяй, — повторяла она, словно не видя меня, — какой негодяй, подонок».

— Он тебе ничего не сделал? — спросил я.

— Нет, — покачала она головой, не заметив оскорбительности вопроса, может, даже и не поняв его как следует. — Подонок, какой подонок...

И в эту минуту я почувствовал, что он больше для нее не существует, но не было во мне ни торжества, ни радости.

Она надела свитер с высоким воротом, но ворот мало что скрывал, и мне пришлось обмотать ей шею бинтом, будто она простужена. Я предложил вообще не идти, но она хотела услышать Вагнера, именно в этот раз ей нужна была музыка, она хотела шагнуть в нее, как шагают в настоящее — решительно и не оглядываясь.

Много еще разного было после этого случая — мы пытались расстаться, договорившись, что если нужны друг другу, то через год встретимся снова. Но она позвонила через неделю и сказала, что так не может. Я был готов к более длительному испытанию, но, услышав ее голос, представив ее одну в этом городе, куда сам ее позвал, сказал: «Приезжай!».

Весной мы поженились.

Надя уже училась — с дневным отделением ничего не вышло, и она поступила на вечернее.

Мы снимали комнаты в коммуналках, отдавая предпочтение старинным квартирам с толстыми стенами, чтобы я мог играть на взятом напрокат пианино. Женитьба моя не осталась незамеченной на факультете, где, хотел я того или не хотел, у меня было много разных, как бы в зародыше существующих, симпатий — целый букет, которому суждено было завянуть. Многие хотели посмотреть, кто моя жена, но я стеснялся водить ее на наши студенческие вечера. Она была красива, но не нашего, не моего круга, и, из-за меня же не войдя в него, она чем дальше, тем последовательней осуждала его, называя наши споры «болтологией» и моих приятелей «психами». В ней вдруг стало просыпаться недоверие к художнической, артистической среде, и, хотя мы вместе пропадали в театрах, на концертах, недоверие это все укреплялось, так что теперь мы поддерживали семейный мир только тем, что старались больше не навязывать друг другу собственных ценностей. Прошное еще достаточно прочно связывало нас, и мы решили, что ребенок свяжет еще сильнее. Я хотел мальчика — мальчика она и родила, и это на шесть лет продлило наш союз. Возможно, он длился бы до сих пор, если бы на окрапленных весенней водяной пылью камнях Финского залива не появилась девочка, девушка, с небрежным любопытством, через плечо поглядывавшая, как мотает среди волн наше потерявшее управление суденышко.

И все-таки первая встреча была не в Репине, не на семинаре так называемой творческой молодежи, где я был гостем, а она участницей, и после ужина мы почему-то оказались вдвоем на берегу залива — светила в непомеркшем небе ранняя луна, дул холодный ветер, на мелководье толклись волнишки, и резко, до головной боли, пахло цветущей черемухой, — первая встреча случилась много раньше, в год, когда родился мой сын, в солнечный мартовский день, — я шел вместе с Надей, держа на руках завернутого в теплое одеяльце спящего Мишку. Да, даже коляску мы еще не купили. Из-за Мишки я не мог смотреть под ноги, так что Надя на всякий случай крепко держала меня под локоть. Мы спешили в детскую консультацию, чтобы пооблудить наше дитя недостающим ультрафиолетом, — смешно и жалко было смотреть на голенького кричащего головастика в темных очках. А навстречу нам шла девочка-подросток в сопровождении мамы. Мама несла футлярчик со скрипкой и папку с нотами, а ее почти взрослая дочь шла налегке — праздное существо с застенчиво-мечтательными, раскосыми глазами. Еще издали она почему-то стала смотреть на нас — сначала на меня, потом на жену, и снова на меня и на мой огромный сверток — тротуар был узкий, и мы с ней чуть не столкнулись.

— Ирина! — сердито окрикнула ее мама, и девочка-подросток покачнулась, неуловимо-гибко подалась в сторону, не сходя с места, но пропуская мимо, как это делают тореадоры, и лицо ее приняло надменное выражение — глаза опущены долу, в досадливо поджатых губах юное презрение ко всему взрослому, скучному; и я, отметив ее не соответствующую снежной белизне вокруг смуглую и уже дерзкую красоту, вдруг почувствовал себя фибровым чемоданом, авоськой с бутылками из-под молока, кухонной полкой. Но тогда я отмахнулся от этого видения, оно мне мешало — я уже все решил, у меня была семья, отдельная квартира, и каждый вечер за окном над всей еще свободной от новостроек окраиной полыхали закаты, ребенок у нас был смысленный, подвижный, с очень славной мордашкой, так что мы слышали со всех сторон: «Ой, какой мальчик!» — не научившись говорить, он уже пробовал себя в пении. Когда я дирижировал спектаклем в оперной студии, а у Нади были занятия, мы отвозили его к моим родителям, а то они сами приезжали подежурить — время было плотно забито делами и обязанностями, так же плотно была забита ими и душа, разве что только где-то с краю, через невидимую шелку тек щемящий, неизвестно что значащий холодок. Мой друг С. бывал у нас редко, да и правду сказать, было не до него, и он это чувствовал, да и вообще почему-то стало не до друзей, тем более что в Наде вдруг прорезалась новая черта — ревность, и каждый раз, если я отправлялся к кому-нибудь, я должен был ответить, есть ли там женщины, и, если они были, Надя настаивала на том, чтобы идти вместе со мной. Мы ссорились, потому что все три варианта: пойти одному, пойти вместе, вообще не пойти — содержали зерно разлада. Бывало и так, что после спектакля или из гостей мы возвращались порознь, потому что ей показалось, что я слишком уж пристально или даже «жадно» на кого-то посмотрел. Нелепо и смешно было следовать по одному маршруту, не теряя друг друга из виду, по разные стороны улицы... Как правило, впереди гневно вышагивал более правый. Занудство это могло затянуться до утра, а то и до следующего вечера. Зря она таким образом проверила крепость наших семейных стен. Для меня они были крепки — тогда я казался себе убежденным семьянином, и если к этому я пришел головой, а не сердцем, то это было мое личное дело.

Ни мать, ни отец не знали о наших конфликтах, наоборот — отец даже подчеркивал, сколь удачно сложилось многое в моей еще молодой жизни по сравнению с тем, как было у него, он даже брался перечислять, в чем я, по его мнению, превзошел его, и все же, судя по тому, как часто он возвращался к списку наших семейных добродетелей, что-то беспокоило его в моем доме, и я видел, что после визитов к нам у него растерянное лицо. Главным достижением нашей семьи он считал рождение Мишки. Первая его жена, Маргарита Яковлевна, смертельно боялась забеременеть, так как разрывалась между своей фольклористикой и заботами о больной туберкулезом сестре. Моего отца она считала в порядке очередности третьей своей сильной привязанностью, и предполагалось, что чем больше он будет вместе с ней облегчать страдания сестры, тем больше у него шансов занять когда-нибудь в ее сердце первое место. Как женщина тоже с очень хрупким здоровьем Маргарита Яковлевна редко снисходила с высоты своих главных забот до исполнения супружеских обязанностей, каждый раз совершая некоторое насилие над собой, отчего мой отец одновременно чувствовал себя виноватым и обделенным. Но развело их другое, а именно — твердое намерение Маргариты Яковлевны прожить без детей, на которых у нее не хватило бы ни сил, ни времени, ни любви, к тому же она опасалась, что в ее ребенке может

проявиться плохая наследственность. Они расстались без злобы и взаимных упреков, тем более, что мой отец, а ее бывший муж и дальше продолжал помогать ей и ее сестре, уже не претендуя ни на что супружеское, к ее великому облегчению.

До того как встретиться с моей матушкой, отец еще раз попытал счастье. Может быть, в силу пережитых им отрицательных эмоций второй его брак был прямой противоположностью первому. Здесь была безудержная, не знающая границ и пределов страсть, правда, несколько истерического свойства — с рыданиями, потребностью запустить в возлюбленного чем-нибудь, с обвинениями в недостаточном внимании, что было одним из известных, но не лучших способов поддерживать большой огонь. Была также страсть хорошо одеваться, а вечера проводить в обществе. На красивую одежду и красивую жизнь в то мало расположенное к внешней красоте время требовались немалые средства, и, узнав, что мой отец тайком еще продолжает помогать первой жене, вторая его жена закатила ему дикую сцену с сердечными припадками, валерьяновыми каплями, сорочка была порвана на груди так, чтобы было видно, насколько она, грудь, хороша. Но и эта южная, черно-сверкающая красота с белозубым оскалом, светские манеры — например, закуривать пахитоску, как одна звезда немого кино, — не могли надолго заглушить настойчиво-смирненной отцовской просьбы родить ребенка. Однако вскоре после того, как жена соглашалась с ним, разыгрывался очередной скандал, отец просил прощения, плохо понимая, за что, но она была непримирима, оскорбленно бросала с порога: «Я уйду!» — и белое, второпях нанесенное на нос пятно пудры вдруг неуместно напоминало итальянскую комедию масок, но потом было уже не до комедии, когда на следующий вечер медленно открывалась дверь, появлялась сначала восковая рука, на ощупь ухватывающаяся за косяк, затем возникало черное поле шляпы и наконец — ее лицо, бледное, без кровинки... Глянув на отца покорно-ненавидящим взглядом, она без сил опускаясь на пороге: «Я сделала аборт...»

Как был — в нижней сорочке, в галифе, в шлепанцах на босу ногу — ошеломленный отец, не помня себя, бежал вниз и через улицу в аптеку.

— Зачем ты это сделала? — в отчаянии шептал он, и слезы стояли в его глазах.

— Я не хотела, чтобы наш ребенок рос в атмосфере ненависти, — отвечала она.

Но это была не трагедия и даже не мелодрама, а горькая проза жизни, убившая в женщине способность рожать задолго до встречи с моим отцом, еще в смутные годы гражданской войны, где, как в омуте, кануло ее прошлое, кануло, казалось бы, навсегда, если бы уже не только после ее смерти, но и после смерти моего отца и его братьев — среднего и младшего, — мне совершенно случайно не открылось бы то, чего так никогда и не узнал отец, — что была она в той смуте атаманшей, гуляла вроде знаменитой Маруси по Украине и что спас ее от расстрела дрогнувший перед ее красотой красный командир и женился на ней, после чего она тоже стала красной, как та бутафорская кровь... Узнал я также, что она, уже в нашу бытность в Ленинграде, зааживала к моим дядям в гости, из всех напитков предпочитала сладкое вино, а после требовала гитару. Она по-прежнему носила шляпу с широкими полями, куталась в шаль и закуривала с тем устаревшим щегольством, которое вернее любых слов говорило, где они — ее лучшие годы. И в романсе, который она исполняла в манере Тамары Церетели, были такие слова: «И гнезда я не свила».

Так или иначе мы с Надей продолжали жить нашей семейной жизнью, выполнив главное — по отцу — предначертание, и остальные наши проблемы как бы шли по касательной к нашей ячейке, нерасщепляемому семейному ядру. А между тем как подрастал наш Мишка, я понемногу «становился дирижером». Стоит ли рассказывать о том дне, когда я впервые очутился лицом к лицу с нашим студенческим оркестром, и о том очередном конфузе — сколько их было! — который ждал меня, хотя я, казалось, досконально проработал партитуру известнейшей Сороковой симфонии Моцарта. Я предложил поиграть с листа, дабы посмотреть, на что мы способны. Я полагал, что музыка нас сама вытащит, по крайней мере, даст нам ощущение целого, чего никогда не мог добиться мой первый школьный дирижер. Первая часть вроде пошла нормально, и я было возликовал — как все дивно, легко и просто, — но потом потерял связь с ними, а они со мной, а вместе мы — с Моцартом, и я только отбивал ритм с каменным лицом, будто для начала ни на что иное и не рассчитывал.

В ту ночь я не спал, а мой профессор утешал меня по телефону: «Юра, вы слишком лабильны. В космонавты вас бы не взяли — вы теряетесь в новой ситуации. Но стоит вам обвыкнуться — и у вас все получится. Все будет хорошо — наша профессия позволяет раскочку. Вот вам девиз — ничего не делайте с лету. Посидите, по-приглядывайтесь... и не краснейте, как девица, — оркестранты понимают про нас больше, чем мы думаем. Источайте спокойствие и уверенность, даже если у вас мокрые штаны. Неуверенных убивают. И не старайтесь сразу понравиться, лучше поддержитесь нейтрально — пусть сначала на вас как следует посмотрят. А Моцарт — это не ваше. Будем менять репертуар...» — Он и не подозревал, что последней фразой убивает все предыдущие.

И все-таки к пятому курсу обо мне понемногу заговорили. Это была не слава и даже не популярность, как, впрочем, мало что изменилось и после моей третьей премии на Всесоюзном конкурсе дирижеров, но я почувствовал, что ко мне становятся внимательней и, когда я начинаю говорить, меня слушают. Я вряд ли стал другим за эти годы, так что получалось, что меня раньше просто не замечали, а теперь заметили. И хотя я оставался безмерно, хотя и скрытно, честолюбив, меня все больше мучил страшок, что как дирижер я много хуже того, каким представляюсь, и это заставляло меня рыть землю. Я сделал к тому времени еще одно открытие: что талант — это процентов на восемьдесят одна лишь работоспособность, то есть способность к самососредоточенности, умение удерживать себя в одном необходимом состоянии, и единственным условием этого была работа. Помню греющий душу консерваторский слухок, что меня ждет уважаемый оркестр, что все уже решено на верхах и остались одни формальности. Должен признаться, что тогда я дрогнул и что-то изменилось в моем лице, как на портрете Дориана Грея. Я стал больше улыбаться начальству, от которого зависело мое назначение, и хотя я объяснял это тем, что с детства воспитан в духе уважения к старшим, в глубине души чувствовал, что начинаю раздваиваться, ступая на ту самую стезю, которая многих привела в чиновники. Конечно, на любую, даже честную, карьеру надо поработать, то есть проплыть в море симпатий и антипатий, используя попутные течения и сторонясь водоворотов, но тут-то для не очень устойчивых душ и начинается то, что по-английски называют *double life* — двойная жизнь.

В общем, я, конечно же, немало преуспел и в прямом — я истово служил музе, — и в переносном — я лукавил — смысле, и я хотел бы, дорогая, чтобы ты постаралась понять оба эти смысла, тем более что по окончании консерватории никакого такого оркестра я не получил, а бежал куда глаза глядят, точнее, уцепился за первое попавшееся предложение, чтобы только не встречаться с Ириной, не видеть, не слышать, не знать... Надя с Мишкой поехала со мной. Так на два года я притулился к городу Р., к его — представь себе — филармонии, которая вместе с киностудией и театром способствовала, когда больше, когда меньше, формированию местной интеллигенции; в мое время — меньше, так как основная категория слушателей — молодежь — была подхвачена приливом рок-музыки и барахталась среди ее децибельных волн, забыв не только про классику, но и про невинный джаз.

В филармонии все было готово к моему приезду, а в Управлении культуры уже лежал проект приказа о назначении меня на должность главного дирижера взамен с почетом уходящего на пенсию заслуженного деятеля искусств Кондратия Ивановича Ш. Я был на его чествовании-проводах, где было произнесено столько велеречивых слов о «выдающемся вкладе», что непосвященный мог бы удивиться, отчего это у местного руководства так вытянулись лица, когда старик, жесткий, сухой, с фиолетовым от капилляров лицом, растроганно, на горловой ноте заявил, что он еще послужит. «В переносном смысле», — буркнул кто-то подле меня.

Почему-то именно Кондратию Ивановичу поставили в вину, что за последние годы посещаемость филармонии резко упала, а прошерстив под этим углом зрения его репертуар, сделали вывод, что он мало пропагандировал мировую классику, ограничивая себя только русской, в то время как музыка, особенно в период разрядки, является самым интернациональным из искусств. Его понимание этого вопроса было названо «узким и не отвечающим требованиям дня». Музыканты были с этим не согласны и стояли на его стороне.

Видимо, я явился для Кондратия Ивановича материализованным воплощением этого, как он выразился, «огу-ла». Он невзлюбил меня с первого взгляда, истонченным от хронического нездоровья артистическим своим нутром угадав во мне своего палача, и поначалу сумел-таки

настроить против меня оркестрантов. До сих пор не могу без содрогания вспоминать первую репетицию: это был не тот мой консерваторский конфуз — во имя своего старого товарища здесь не пожалели бы и Тосканини, — мне была устроена обструкция. Я начал с того, что они хорошо знали, со Второй симфонии Рахманинова, кстати, принесшей мне через три года звание лауреата, но уже на коде первой части понял, что надо мной просто издеваются, что дикое, расхристанное звучание струнной группы, утиные крики медных вовсе не от утраты профессионализма...

На следующий день, глядя на сияющее лицо Кондратия Ивановича, надевшего все свои награды, я испытал смертный холодок катастрофы, как когда Надя прочла неотправленное письмо Ирине, по дурацкой моей рассеянности оставленное прямо на пюпитре рояля, на клавире «Пиковой дамы». И я попросил его о помощи. Господи, как мало человеку нужно! Кондратию Ивановичу нужны были не слава, не деньги, не почет. Ему нужно было понимание. Нет, ему нужно было гораздо больше — вернуть уважение к себе. И вот, несмотря на недовольство Управления культуры, я добился, чтобы ему, помимо преподавательской работы, дали выступления с оркестром, поставили его имя в симфонический абонемент... Короче, косвенно признавшись в своей слабости, я стал героем дня.

За два года работы я, даже и в паре со старейшим представителем музыкальной провинции, мало преуспел в пропаганде теперь уже мировой классики, хотя, помимо молодежного абонемента, мы организовали на местном телевидении еженедельную передачу о музыке; в то время, как я о ней рассказывал, мои воображаемые молодые телезрители толклись в танцевальном зале, где гремела лихая вокально-инструментальная пятерка под названием «Протуберанцы», конкуренция с которой нам, солидному коллективу из шестидесяти дипломированных музыкантов, была явно не по плечу. Не понимаю, как это мы могли прозевать целое поколение? Так были заняты собой или какими-то более важными делами? Разве есть что-нибудь более важное, чем воспитание? И все-таки в городе Р. нам, кажется, удалось что-то сдвинуть с мертвой точки, особенно после успешных гастролей по Прибалтике, когда настороженное моими акциями начальство наконец доверчиво расслабилось. Хочется думать, что я не оставил по себе в этом городе плохой памяти, хотя он сам почти не остался во мне, и я уже смутно вижу его заурядный благопристойный центр и рядом же — кривую, кособоко сползающую к большой реке окраину, напоминавшую махровую купеческую дичь из пьес Островского.

Именно там мои отношения с Надей пережили как бы второе рождение, и мы оба делали вид, что не помним о пропасти, чуть не разделившей нас. Но мы хорошо помнили о том, что произошло, и Надя, хоть и скучала вместе со мной по Ленинграду, не хотела туда возвращаться. А история та была проста до банальности — да, была девушка, первокурсница, скрипачка, которая после того вечера на заливе написала письмо раздувающемуся от собственной многозначительности кандидату в дирижеры, а тот, вместо того чтобы дать ей хотя бы онегинскую отповедь, прельстился молодостью, красотой и больше всего тем, что это преподносилось ему как бы задаром, без малейшего на то усилия с его стороны, и позволил себе ответить дружеским жестом, который стремительно перерос в привязанность, а затем то ли в любовь, то ли во что другое, не имеющее названия, но забравшее его целиком и безоговорочно. Об этой истории можно написать целый роман, и все же она похожа на тысячи других, так что нетрудно догадаться, что за чем следует, но тогда ему — поверь, мне не хочется отождествлять себя с ним, — тогда ему казалось, что она единственная в своем роде. Героиня этой истории была на девять лет моложе героя, и он вдруг решил, что именно молодость ее и права. Двадцатисемилетний дуралей поменялся с ней возрастом — она вещала, он кивал головой. Он подпал под фантастическую зависимость, настолько глубокую, что, я склонен думать, тут не обошлось без колдовства и всяких там чар. Попробуй еще раз представить себе ее — стройненькое существо с эбеновыми раскосыми глазами, гибкое, как лозинка, так что в походке одновременно участвовали не только ноги, но и бедра, талия, спина, плечи, шея. Самый шаг ее отдавал смуглым восточным колоритом, пентатоникой — она могла бы быть Шехерезадой, да, возможно, ею и была в одном из своих прежних воплощений. Между нами еще не произошло того, что сразу притягивает или резко отталкивает, а я уже начал испытывать страх. Однажды мы шли по Петровской набережной и говорили о чем-то — мы всегда с ней говорили, — я глянул ей в глаза и не увидел в них, темных, строгих, серьезных, дна. Я почувствовал, как у меня холодеет затылок и как меня охватывает какой-то незнакомый, пугающий трепет, и, помню, я совершенно ясно осознал это как предостережение, — будто кто окликнул меня, чтобы я оглянулся в последний раз

и что-то окончательно решил. Я и решил в тот же момент — не оглядываться. Да я и не мог иначе, не мог, как ни старался, вынырнуть из той черной глубины. Попался! — чуть не с радостью подумал я и вслед за тем вдруг ясно увидел все то, что ждет нас впереди, все, что я смогу и не смогу вынести, всю нашу трудную, мучительную, прекрасную, ужасную жизнь вдвоем, от которой теперь вроде ничего не осталось — ни хорошего, ни плохого, разве что удивление, что это все-таки было.

Она была хорошей скрипачкой и притом замечательной умницей. Даже не скажу, чтобы ее как-нибудь по-особому воспитывали — мать ее была человеком обыкновенным — ум у нее был в крови. Он достался ей, наверное, от какой-нибудь прапрабабки, а той — от Шамаханской царицы... такая у нее родословная. Отца своего она не помнила и не знала, даже фотографий его не осталось — их, когда она была еще маленькой, порвал отчим, который затем тоже исчез, хотя долго еще выпадал из ящиков в групповых снимках и отдельно, с белым уголком, вывешившим сердце, и никому не было дела до их неиссякавшего количества; помнила она только один снимок, запечатлевшей ее еще юную мать, а рядом на траве — огромные парусиновые туфли, будто за миг до того, как щелкнул затвор фотоаппарата, их владелец и выскочил из них навсегда.

Через два месяца после нашего знакомства мы поехали к ней на квартиру с совершенно определенным намерением — она была девушкой решительной, — и когда свершилось то, от чего я эти два месяца под разными предлогами увиливал, я взглянул на нее, еще более строгую, как бы враз похудевшую, и понял, почувствовал, что я раб ее и выполню любое ее желание, скажет: умереть — и я, не раздумывая, умру, с улыбкой счастья на губах.

Да, она была замечательная умница, и поскольку это был ум еще по-юному книжный, он был много выше моего натурального, блекло обозначившегося к двадцати семи годам из-под отшелушившегося заимствованного — собственный мой ум был менее наряден не только по сравнению с ее, но и с прошлым моим умом. Но состояние, в котором я долго еще пребывал, не давало мне разглядеть книжность этой девочки — и все роли, которым она хотела соответствовать, я принимал за чистую монету, тогда как на самом деле все это было чьей-то пьесой, литературной интригой, стихотворной строкой.

Дорогая, я вижу на твоём лице гримасу нетерпения, ты уже заметила, что я противоречу себе, ты хочешь в уме ей отказать. Да, противоречия есть, как противоречивы два ее образа, — тот, который я любил, и тот, о котором мне бы не хотелось распространяться. И все-таки в уме ей не откажешь — это не такая уж редкая вещь, когда человек, воспитанный на литературе, разбирается в жизни гораздо слабее того, кто почти ничего не читал. Думаю, она бросила меня именно в тот момент, когда прозрела, когда ей стало неудобно, тесновато в прежней, хоть и красивой, коже. Я хорошо помню это поразительное ее перевоплощение — в один прекрасный день я не узнал моей двадцатилетней возлюбленной, и за полураскрытыми темно-чувственными губами ее, в юности вечно обветренными, в колючих щекочущих корочках, за верхним рядом влажных стройных зубов я вдруг с ужасом разглядел вместо нежного языка ядовитое жало.

Сколько же было Мишке, когда я встретился с ней во второй раз? Два года? Однажды, как всегда опаздывая, я ехал на репетицию и из окна автобуса увидел свою маленькую семью — они шли в магазин, в который не успел сбежать я, — Мишка ступал медленно, хоть и в полный шаг своих коротеньких ножек, Надя терпеливо держала его за руку, не выказывая ни малейшего недовольства, и было в них что-то такое неловкое, тихо-покорное и беззащитно одинокое, что у меня сжалось сердце; я уже проехал молочный магазин, а они едва приближались к нему, оставшись далеко позади, и тогда я впервые осознал, что живу уже другой жизнью, не с ними, и, как бы я ни старался быть счастлив потом, прощения мне не будет.

А Ирина очень скоро поставила меня перед выбором, что было справедливо с ее стороны, ибо, двоясь, нельзя оставаться человеком — она как бы спасала мою душу от надлома, настаивая, чтобы душа была в каком-нибудь одном месте и целиком. «Или ты женишься на мне, или мы расходимся», — сказала она. — «Я не могу жениться», — сказал я, — я уже женат». И мы разошлись. На несколько часов. Потому что она нашла меня по телефону и сказала, что не права и что каждое решение должно назреть изнутри. То есть она как бы согласилась подождать, пока оно назреет. И мы снова встречались, бродили, ехали куда-то. Ты бывала зимним вечером в Пушкине,

в пустом, холодном парке подле Екатерининского дворца? Я таскал ее скрипку, чтобы ей было сподручней забрасывать меня снежками, а потом я втыкал футляр грифом в снег, будто намереваясь расстрелять маленькую черную лоснящуюся тушку, и Ирина героически заслоняла ее собой. Снега было по колено и выше, и, вывозившись в нем до бровей, мы, хохоча громче, чем нужно для счастья вдвоем, вываливались на дорогу, куда уже выворачивал наш автобус, и я тайком взглядывал на часы — ведь дома меня ждала семья, и как бы мне ни было хорошо, рано или поздно я вспоминал о ней.

Еще раз, когда Ирина в кафе где-то на островах заговорила на злободневную тему, я молча встал и сделал ей прощальный поклон, она осеклась на полуслове, мы взяли такси и поехали в город, и она вдруг попросила таксиста остановиться, вышла и стала ходить взад-вперед, будто от сильной боли. Я вылез за ней, но она попросила оставить ее одну. И я оставил. А потом оказалось, что в кафе она погасила сигарету о запястье, и навсегда оставшийся рубец многое продвинул тогда в наших отношениях. Но когда Надя прочла то письмо и закатила мне — чего от нее никак не ожидал — скандал в лучших традициях русской деревни, со срыванием занавесок, битьем посуды и криками на лестничной площадке, куда вылетел чемодан, и я собирал по ступенькам свое барахлишко, благодаря бога, что Мишка у родителей, — все же в те минуты я однозначно понимал, что никуда не уберусь, и, видимо, это понимала и Надя, потому что когда я действительно ушел, она вела себя иначе.

А в тот раз я поехал проститься с Ириной. Был июнь, и мы мечтали махнуть на юг, чтобы, как многие, сложить там все урывочные наши свидания в одну большую, ни у кого не украденную встречу — вместо этого произошло короткое объяснение, которое в общем мало чем отличалось от предыдущих, но на этот раз Ирина сказала: «Я тебя потеряла». На ней было лучшее ее платье в цветах, и была она красивей, чем всегда, но мы так и не прикоснулись друг к другу, и я ушел. Разлучного этого платья я потом на ней больше не видел никогда.

И я увез свою семью в город Р., а через два года вернулся — и оказалось, что она мне писала, но я не получил ни одного письма. Она уже училась на четвертом курсе и если раньше только подавала большие надежды, то теперь уже начала их оправдывать — победила на всесоюзном и рассчитывала попасть на международный конкурс. До знакомства с ней я с застарелым ревнивым снобизмом духовика был со скрипкой на «вы». Для меня это скорее был превосходный ансамблевый инструмент. У Феллини скрипач находит в нем сугубо мужское, фаллическое — я раньше был убежден, что скрипка — это женщина, называл же Бетховен рояль королем, а скрипку королевой. Ирина мне открыла, что скрипка — это борение мужского и женского начал, то есть, сильного и слабого. И дело не в струнах, не в смычке — это было бы слишком банально, — а в том, что раз здесь нет заданных тонов, как, скажем, на том же рояле или на кларнете, то игра на скрипке — все равно, что дирижирование — процесс саморазоблачительный: в дирижировании выдает жест, а здесь — тон. Скрипка — инструмент правды, и если ты хочешь, чтобы были видны все твои тайные грешки и то, чего ты стоишь, играй на ней, в добрый путь! Ирина красиво развивала эту мысль, и было видно, что многое из того, что она говорит, открыто ею самой.

И вот она стояла передо мной все с тем же футлярчиком, повзрослевшая, похудевшая, ставшая еще острее и призывней, — и я, теперь уже аспирант, испытал тот же самый, почти позабытый холодок незащитности и понял, что наша история не закончилась и, может быть, только начинается. Или это я понял позднее, когда мы встретились с ней у С. — единственно для того, чтобы я послушал ее игру, хотя С. счел за лучшее смыться, — а тогда, в консерваторском коридоре, на глазах студенческо-преподавательского состава, мы могли только обменяться парой незначащих фраз, почувствовав, что нам неистово, до физической муки хочется говорить друг с другом.

Ни с кем прежде и потом я не говорил так много и самозабвенно, как с ней. Мы были собеседниками божьей милостью, мы подхватывали мысли друг друга на лету, мы парили, забираясь выше и выше в словах и звуках, хотя я был неважнецкий аккомпаниатор. Однако она делала комплименты моей интуиции и почти всегда соглашалась с моими трактовками — но и в моем русле она плыла по-своему, и голос ее нельзя было спутать ни с каким другим: ее непомерная гордыня растворялась в радости жизни, а ум, подчиняя чувственность, добавлял в нее обертоны благородной страсти.

Полгода мы продержались в друзьях, в собеседниках, а в январе был день ее рождения, и мы поехали вдвоем на Жекину дачу, ту самую, откуда был некогда выужен рояль с бронзовыми ножками. Мы думали остаться на ночь, я затопил печку. Ира застелила постель, мы хлопнули бутылку шампанского и кинулись друг к другу, но потом я слез с кровати на ледяной пол и стал одеваться. Она молча следила за мной, еще прекрасная, еще с поволокой в глазах, но уже чужая, опасная.

— Мне надо в город, — сказал я. — Ты со мной?

Она усмехнулась, повела плечом и, прижимая к груди простыню, съехала по другую сторону кровати. И в самом деле — дурацкий вопрос... Я, конечно, испытывал перед ней вину — как-никак испортил ей праздник, — но еще большую, почти непереносимую паническую вину я испытывал перед Надей. Они ждали меня — и я не мог, как собирался, позвонить к ночи со станции и сказать, что загулял тут в компании с Жекой и С.

Мы вышли, заперли все двери, оставив внутри не для кого удушающее тепло раскаленной печки, — дачный поселок был погружен во тьму, только неподалеку среди сугробов и заснеженных веток теплилось несколько огоньков; из водопроводной колонки лилась, чтобы не замерзнуть, ледяная струя, и, что-то напоминая, широко чернело, растекаясь по снегу, пятно наледи.

У нас оставалась бутылка сухого вина, но везти ее назад с несостоявшегося праздника казалось дурной приметой, и мы ее поставили прямо посередине освещенной редкими огнями дороги, так, чтобы она непременно попала на глаза тем, кому в тот вечер везло больше, чем нам.

И все-таки мы не простились. Мы вступили в ту пору отношений, когда каждый изъяз, каждая выщербина и заусеница еще крепче цепляли нас друг за друга, и мы, как две пригнанные шестеренки, уже не могли двигаться поврозь. Видимо, какое-то время нас соединяла любовь, но, поскольку обстоятельства жизни были против нее, она в своем бескорыстии должна была бы уступить им — она же попыталась схватиться с ними, помериться силой и оттого утратила щедрость и бескорыстие, стала эгоистичной и, собственно, потеряла право именоваться любовью, но то, что явилось вместо нее, или то, во что она превратилась, несло в себе впечатляющий заряд разрушения; где уж было устоять Наде, Мишке, мне самому, нашему дому. Мы с Ириной снова бродили по городу, взявшись за руки, мечтали о другой жизни, целовались, любили друг друга, находя прибежище у друзей, и не подозревали, что у нас лица монстров.

Так прошел год, прежде чем я объяснился с женой, и еще год, прежде чем по настоянию Ирины я развелся, хотя я и так прожил это время отдельно от своей семьи, у родителей. Все это мне тяжело вспоминать, потому что не было дня, ночи, чтобы я не задавал себе вопрос, правильно ли я поступаю, и жуть заключалась как раз в том, что, как бы я на него ни отвечал, меня ни на минуту, ни на секунду, даже во сне, не отпускала боль, которую я тогда принимал за чувство вины, но которая по сути означала другое — любовь к своей семье, к своему дому. Ее-то я и пытался умертвить.

Родители мои, особенно отец, тяжело восприняли мой развод — будь у меня в семье все хорошо, отец, думаю, прожил бы дольше. «Почему же все-таки я развелся?» — спросишь ты. Потому что я хотел понять себя — то, ЧТО я могу. Потому что я боялся потерять Ирину, — потому что повел себя как бы нравственно, юридически подтвердив свой образ жизни, — потому что я вбил себе в голову, что иначе перестану себя уважать, что в будущем не прошу себя за малодушие и трусость. Откуда мне было знать, что, глядя из будущего, именно малодушием, трусостью я и посчитаю свой уход из дому.

Надо отдать должное Наде — она отступила перед моей Большой Любовью, поверила, что иначе я не могу. Помню только один ее вопрос: «Если она так любит тебя, почему настаивает, чтобы ты непременно на ней женился? Разве любовь не выше этого?» Я объяснял это Ириной цельностью и последовательностью, нерасторжимостью чувств и поступков, в то время как у меня от чувств к поступкам вела целая цепочка допусков и компромиссов. Поступая так, как хотела Ирина, я, думалось мне, и сам стану прямее и мужественнее. И все-таки из нас троих, если не

брать в расчет Мишку, самым цельным и последовательным человеком оказалась Надя, она единственная пережила катарсис и стала в результате лучше той, что была когда-то моей женой.

Однажды, когда мы с Ириной уже поженились и она была на шестом месяце беременности, я по пути домой по обыкновению позвонил из автомата Наде — своего телефона у нас не было, — и она вдруг позвала нас в гости.

— Как? С Ириной? — опешил я.

— Конечно, с Ириной, — сказала она.

Это было вскоре после ее дня рождения, на который я подарил ей импортный диск любимой тогда всеми группы «Бони М», и спекулянтская эта музыка рождала как бы другое, более раскованное, наркотическое ощущение жизни, где подлинная боль казалась не такой мучительной, а настоящее горе — не стоящим горьких слез. Видно, она и позвала нас, надышавшись этого ритмизованного зелья. Я передал приглашение Ирине.

— Как ты думаешь, что это значит? — спросила она, я впервые увидел на ее губах растерянную улыбку, особенно неожиданную в ее основательном положении женщины, готовящейся к материнству.

Я пожал плечами.

— Надо идти, — сказала она. И мы поехали.

Надя с Мишкой приняли нас как почетных гостей — меня, бывшего мужа, и Ирину, мою нынешнюю жену, о которой Надя была столько наслышана от меня, что мои слова стали как бы ее собственным мнением. Варварски посверкивала эта острая, как лезвие бритвы, полунегритянская, полуюропейская, полуазиатская музыка — Надя, бледная, худенькая, затянутая в брюки и тонкий свитер, танцевала перед нами, Мишка пробовал свои коленца, я тоже что-то изображал, отяжелевшая Ирина сидела с прямой спиной, в бархатном платье, красивые складки которого скрывали ее выпирающий живот — лицо вежливо-доброжелательное, терпеливое, но где-то глубже — ошеломленное, как и лицо Нади, как и мое собственное лицо, потому что интеллигентский наш выверт в духе нравственных идеалов «Литературки» был нам не по плечу; видимо, больше всех положила на это сил сама Надя, потому что после этого вечера она впервые преисполнилась ненависти к Ирине, будто получила наконец на это очевидное право. Что-то существенное проиграла ей тогда Ирина, хотя и сейчас я не мог бы сказать — что именно. Видимо, и сама Ирина это поняла.

Под самый Новый год я переодевался для Мишки Дедом Морозом. В первый раз — ему было чуть более трех — я жутко волновался — вдруг узнает, — говорил с ним полупридушенным фальцетом, фальшивил и переигрывал, к тому же боялся, что просто-напросто напугаю — и он расплатится, но Мишка так доверчиво протянул мне свою ладошку, что все прошло как по маслу. Пока он с Надей, умело поддерживающей мое алиби, копошился в комнате над мешком с подарками, я, взмокший, быстро разоблачался в ванной, чтобы выскочить оттуда с удивленным восклицанием: «Как, уже приходил? А я тут моюсь и не слышу...» Теперь он уже был первоклассником, но по-прежнему верил в Деда Мороза и

Ждал его. Именно поэтому я снова пришел, приехал, оторвавшись от своей новой жены, от домашних приготовлений и пирогов своей новой тещи. Ирина отпустила меня без лишних слов, Мишка — тогда это было свято. «Не опоздай, милый», — только и сказала она, и я сказал, что успею. Полчаса там и по сорок пять минут туда и обратно.

Должен заметить, дорогая, что основной моей заботой тогда было, чтобы всем было хорошо; я носился с убеждением, что добро должно взять верх, стало быть, все получают от него по равной доле и окажутся чуть ли не в выигрыше. Я вбил себе в голову, что весь этот наворот можно разрешить только добрым всепониманием, и примером того, что оно срабатывает, как бы и было приглашение Нади. Мне казалось, что, избрав именно такое направление, именно такую, пусть узкую, извилистую, но верную тропку, мы втроем, а с Мишкой вчетвером, придем к некой

облагораживающей цели. Сколько я произнес перед Надей горячих слов, чтобы и она двинулась этим путем. И вот, казалось, Надя стала моей ученицей, я даже приобрел в ее глазах некий дополнительный авторитет, и она открыла во мне новые грани — недаром после процедуры развода судья почему-то попросила, чтобы мы покидали зал суда врозь, в разные двери, хотя мы пошли вместе, — недаром, сидя десятью минутами позже в соседнем кафе — застал бы нас здесь суд! — женская троица, разведшая нас ничтоже сумняшеся, — недаром, сидя в кафе, Надя сказала, внимательно посмотрев на меня: «Сегодня я познакомилась с очень интересным человеком...» — и я не сразу сообразил, про кого это она. Мы как бы решили стать другими людьми, на голову выше себя прежних.

В первые месяцы после новой женитьбы я проводил с Надей и Мишкой даже больше времени, чем раньше. Мы затевали втроем какие-то немыслимые игры, например, сидя вокруг в креслах, пасовали задранными ногами надувной шар друг другу... Нетрудно усмотреть, дорогая, в этом жонглерстве (на языке цирка это называется «антипод») мой вариант устройства новой жизни. И вот в роли антиподиста я и завалился под Новый год в первую свою семью, и, пока Мишка играл с Надей в подаренную мной же игру (с фишками и кубиком), я, включив в ванной воду, снова проделывал над собой натужное превращение в Деда Мороза. Свет в коридоре был предусмотрительно выключен, чтобы можно было из ванной комнаты тишком выскочить за входную дверь и позвонить с невинным видом.

Открыла, как и полагалось, Надя, сбоку из-за нее выглядывал взволнованно-счастливый Мишка — и я опять ломал ваньку, и все вроде сошло. Под конец мы зажгли возле елки бенгальские огни, и только раз у меня трусливо екнуло сердце, когда сын как-то слишком уж внимательно посмотрел на меня... Потом Дед Мороз ушел, и я, как водится, вышел из ванной и, мучимый актерским тщеславием, выпрашивал у Мишки, что за Дед Мороз приходил.

— Тот же самый, — сказал Мишка, — только очень спешил.

— Наверно, у него много детей, к кому надо зайти, — сказала Надя.

— Наверно, — согласился Мишка, вместе с детсадовской закалкой накрепко усвоивший идеи коллективизма.

Мы попили на кухне чаю, и я стал собираться. Надя с Мишкой исчезли в комнате и, пошущукавшись, возникли передо мной в передней. Мишка неловко, бочком подошел ко мне и сказал:

— Папа, оставайся с нами встречать Новый год! Это был удар ниже пояса, и я растерянно и возмущенно посмотрел на Надю. Ее лицо было непроницаемо.

— Папа, а! — словно стесняясь чего-то, помотал меня за руку Мишка.

— И правда, оставайся, раз сын просит, — сказала Надя.

— Но я же не могу, — жалко улыбнулся я, — Я должен быть т а м, я обещал.

— А нам ты ничего не обещал?

— Но я же пришел.

— Но ты уходишь.

— Но так надо.

— Кому?

— Всем нам.

— Кому всем? Ей?

— Опять ты за старое... Мы же все решили! — Мне тогда казалось, что и действительно все можно устроить, построить — постепенно, день за днем, по кирпичику — и вчерашнее держится сегодня, прочно схваченное раствором слов и договоренностей.

— Что мы решили? Что мы решили? Это ты за нас решил! Тебя сын просит!

— Папа, я прошу тебя, — подтвердил Мишка, снизу глядя на меня виновато-испуганными глазами.

Был бы у Ирины телефон, я позвонил бы ей, и она бы поняла, она бы великодушно — она еще несколько лет будет великодушной — сказала: «Оставайся, раз сын просит», — но телефона не было, а я обещал Ирине вернуться. Более того, я обязан был быть именно там, в доме, который я предпочел этому, и это Надина вина, что она опять провоцировала мой выбор — разве я не сделал его? — отчего же так больно, будто не было слез и слов, решений и поступков, почему все снова сдвигалось с места?

— Что ты делаешь? Ты не имеешь права! — шагнул я к ней.

— А ты, ты имеешь?! — Надино лицо было бледным и каким-то иступленным. — Хочешь, мы на колени встанем? Давай, Мишенька, встанем на колени и попросим папу не уходить!

Она и в самом деле порывалась опуститься на пол, а Мишка вдруг сказал:

— Не надо, мама... мама, не надо, — отвернулся от меня и, закрыв лицо руками, убежал в комнату. Он упал лицом вниз на диван, рядом с мешком подарков, и мы с Надей услышали, как он сказал:

— Мама, я не хочу жить.

Я рванулся к нему, отодвинув Надю, которая почему-то встала на моем пути, сам упал перед ним на колени, положил руку ему на затылок в упругой шапочке светлых, в маму, волос:

— Миша, сынок... Мы встретим Новый год. Я вернусь, и мы встретим, хорошо? А сейчас я должен уйти, потому что я обещал. Я не могу нарушить обещание, иначе бы я остался.

— А зачем ты обещал? — спросил Мишка, по-прежнему лицом вниз, но в голосе его было уже не отчаяние, а горькое размышление.

— Так было нужно. Когда ты вырастешь, ты поймешь меня.

— Я и сейчас понимаю, — сказал Мишка и, встав с дивана, с опущенной головой, но сухими глазами подошел к Наде:

— Мама, папа не может с нами остаться, потому что он дал обещание.

— А ты спроси, кому он его дал? — развернула она сына ко мне и подтолкнула в спину. — Спроси! — Она

подталкивала его, а он упирался, все ниже опуская голову, и я, помертвев, уже ничего не мог сказать. — Он дал его своей новой жене! Он бросил нас ради нее. Теперь у него другая семья, а мы для него никто.

— Не надо, мама, — снова повернулся к ней Мишка, уткнувшись лицом ей в живот, и она не могла отодрать его от себя...

Не помню, как я ушел. Только за новогодним столом у меня вдруг дико заломило в висках, словно с каждой стороны вбили по гвоздю, и Ирина отвела меня в спальню, и, почти в беспамятстве от боли, я лег, но все же помню, она утешала меня, и теперь — не тогда — слышу благородную фальшь в ее голосе и ее полные благородного фарисейства слова: «Что же ты, милый. Надо было остаться там».

## 13

К моим годам мало в жизни остается удивительного, одна только работа. В остальном же удивление — редкость. И все же, когда раздастся звонок в дверь и ты идешь открывать, гадая, кто бы это мог быть в такой неурочный час — почтальон, соседка? — все же там, за порогом, тебя ждет удивление: Марик, собственной персоной, постаревший на положенные десять лет после последней — во время моих гастролей в Прибалтике — нашей встречи, Марик, не заставший меня во втором моем браке, ничего о нем не слышавший, с цветами, надо полагать, для первой моей жены, с набором новогодних открыток и календариков для Мишки, что ли? — четырнадцатилетнего хоккеиста с меня ростом, которого проймешь разве что портативным японским магнитофоном...

Я был ему рад: как далеко мы ни ушли друг от друга еще в ранней юности, с годами общего у нас стало больше — мы объединились в памяти о детстве, а в зрелости совершили примерно одинаковые прегрешения а финишировали на промежуточном этапе примерно с одинаковым результатом. Правда, он не разводился, и детей у него втрое больше, к двум законным сыновьям — малышка от женщины, которую он сейчас любит.

Я помню его жену, милую, тихую девочку, приехавшую вместе с ним в Ленинград на встречу Нового года — я еще устраивал им номер в гостинице, — и под вечер первого числа был у них. Лицо девочки было омыто ночными слезами, а Марик был сдержанно счастлив, деловито хмурился и на каждое движение своей невесты готовно вскакивал с нежной озабоченностью. Подоконник огромного, во всю стену, окна был прожжен жгучими каплями бенгальского огня и для камуфляжа засыпан конфетти.

И вот теперь он сидел передо мной, постаревший лицом и повадкой, и я вполуха слушал его историю и обдумывал оригинальную мысль о том, что мы рабы своих страстей и не умеем глядеть вперед, за ту черту, где эти страсти умирают. Тогда же, в Риге, Марик показывал мне свою квартиру и энергично обозначал предвкушающим жестом ладоней, где какой предмет мебельного гарнитура встанет. В кровати прыгал пухлый и смуглый — в папу — Венька, а жена вынашивала, как потом оказалось, Володьку.

Он приехал на машине.

— Белые «Жигули», шестерка, армянский вариант, — скромно усмехнулся он. — Машина меня и кормит. Без нее я бы не потянул вторую семью.

— Жена знает? — спросил я.

— Нет.

— И долго ты так собираешься тянуть?

— Мальчишек надо на ноги поставить...

— Стало быть, еще лет пять-семь?

— Стало быть, да... — согласился он, поживившись от этого немалого уже для наших лет срока.

— Не надорвешься?

— Машина у меня...

На следующий день ты красиво вписалась в переднее сиденье этой машины, и Марик красиво рванул с места — недаром восемьдесят лошадей.

— Почему ты не купишь такую же? — спросила ты.

— Куплю, — сказал я. — Но водить придется тебе.

— Почему?

— Мне поздно. Лучше не начинать.

— Он прав, — подтвердил Марик. — Дорога — это сплошные стрессы. Пусть побережет себя для своих симфоний.

— Он просто не удержит руль. Он даже дирижерскую палочку устает держать. Какой из дирижера водитель...

— Рахманинов тоже был дирижером, — возразил я. — И у него был чуть ли не первый в России автомобиль. А у Караяна целый гоночный парк.

— Но ты не Рахманинов и не Караян.

— Да, не Караян.

— Плохо знать свой потолок. Как хорошо, что я его не знаю.

Мы с Мариком переглянулись.

— Старички... — ехидно протянула ты. — Марк, почему у вас ни одного седого волоса? Неужели вы однолетки?

— Я старше, — сказал Марк. — На четыре месяца... Мы покатали по вечернему Приморскому шоссе, завернули в интуристский мотель в Ольгино, договорились насчет вечера и дунули в Репино. Мы мчались в наступающих сумерках мимо заснеженных перелесков и безлюдных дачных поселков, звучала кассетная музыка, попыхивали дорогие сигареты — все это было для тебя, дорогая. Я остановил Марину у «Пенат» и повел вас по репинскому дому — в зимний этот вечер два его теплых этажа были забиты неизвестно откуда наехавшими экскурсантами, пожилые зрительницы включали по ходу дела магнитофоны и, вооружившись указками, молча иллюстрировали магнитофонный рассказ. Опять я увидел переписываемый всю жизнь, замученный портрет Пушкина в полный рост на набережной Невы — не получившийся, может, потому, что Репин хорошо писал только с натуры, а его натурщик, естественно, не был Пушкиным. Но каково жить, зная свой потолок... Вертящийся стол — прародитель столовок самообслуживания, гонг, созывавший гостей, — последняя эпоха, когда из жилья еще можно было сделать музей. Останется ли после нас хоть одна заваливающая вещьца?

В Ольгине, едва мы вырулили на стоянку возле мотеля, к нам прицепился милиционер, явно намереваясь сделать Марику прокол за въезд под запретный знак. Днем почему-то никого не волновало, что мы не интуристы.

— Иди выручай, — сказала ты, и оказалось, что вовремя. Если б не мое удостоверение, Марику бы несдобровать.

— Ну ладно, — слегка переменялся в голосе милиционер, — на первый раз ограничимся трехрублевым штрафом... А раз уж вы встали, идите поешьте.

Вот такая метаморфоза.

Удостоверение личности... Ты никогда не забываешь напомнить мне о нем. Я и сам, похоже, привык, что без него не откроется ни одна дверь. Я как бы ношу свою личность во внутреннем нагрудном кармане. В метро, на улице меня, естественно, никто не узнает. Фамилия моя тоже ничего не говорит. Говорит только жест, которым я начинаю что-то доставать из кармана, уверенный, неспешный жест... А вот когда Верди входил в обычную таверну, все вставали. Да и у нас в те времена... Впрочем, вокруг музыки и музыкантов роилась всего лишь кучка людей, оспаривающих друг у друга право говорить от имени просвещенной России. Едва ли всех вместе их набралось бы больше тысячи.

Ужин в гриль-баре нам «не показался», и мы продолжили его в городе, в номере Марика. Я провел пальцем по подоконнику — он полированно, глянцево блестел.

— Помнишь, ты прожег такой же под Новый год, и вы засыпали его конфетти?

— Что? — не сразу сообразил Марик, но вспомнил и загрустил. — В каком же это номере мы останавливались?

Словно в честь упомянутого выше маэстро Верди, мы выпили сухого итальянского вина — откровенной кислятины, правда, из красивой бутылки, и теперь уже не мы тебя, а ты нас увлекла за собой — куда, мы тогда сразу не поняли.

Твое удостоверение личности было, как всегда, на твоём лице — и если на нас с Мариком и бросали взгляд, то только из-за тебя. Сколько раз, идя рядом с тобой, я замечал эти растерянные мужские лица... Неужели ты не знаешь, какое впечатление производишь на мужчин?

— Почему со мной никто не хочет знакомиться? — ноешь ты.

Дорогая, к такой, как ты, осмелился бы подойти разве что Казанова или Дон Жуан. В твоём прекрасном лице нет ни капли легкомыслия — красота его пугающая, трагическая, хотя я ещё не встречал человека более легкомысленного, чем ты. Итак, пока мы, как два частных охранника, сумрачно сопровождали по длинным гостиничным коридорам вашу красоту, сколько мужчин было выбито из седла, сколько из них лишились сна и покоя!

Жуткое это место, куда ты нас привела, называлось, как ему и положено, «шайба». Молодая пышнотелая лифтерша в накинутом на плечи пальто вознесла нас на последний этаж и, кокетливо вытянув по трехе с носа, захлопнула за нами железную дверь. Только в следующий момент я осознал, что это лязгнули райские врата. А теперь, минуя чистилище лестничной площадки, мы оказались в аду. Неистово и надрывно колотилась музыка, клубились облака дыма, и в них роились молодые человеческие существа. Таких старых, как мы с Мариком, не было, но это озаботило только нас самих, потому что здесь никто ни на кого не смотрел. Последний раз я был на танцах лет пятнадцать назад и, оказывается, отстал от жизни больше, чем предполагал. Оказывается, рок-музыка, смахнувшая с молодежных подмостков старый добрый джаз, изменила-таки образ поведения, и значит, то, что предстало перед нашим взором, было плоть от плоти её, кровь от её крови. Правда, никто, по крайней мере при нас, не дрался — это для сравнения с тем, что случалось в дни моей юности — но не было и пар, все были как бы сами по себе, за исключением трех негров, у которых были постоянные девушки, две блондинки и брюнетка, — все же остальные как бы вдруг потерялись, раззнакомились, как на последнем этаже Вавилонской башни, и только при очередном залпе музыки стряхивали с себя оцепенение и нехотя, лениво, не глядя, становились друг против друга, чтобы немного подразмяться. Мне нравились их лица, ничуть не пустые, наоборот — лица людей, чувствующих время, но чувствующих скорее слухом и осязанием, глаза же были отсутствующими, словно не на что было смотреть.

Сначала показалось, что мы задохнемся в этом адском дыму, даже ты, дорогая, стала покашливать, но вскоре мы попривыкли, осмотрелись, облюбовали уголок, и Марик принес вместо талонов, выданных лифтершей, три коктейля, в которых угадывался вкус коньяка на воде со льдом. Я потянул содержимое через трубочку, покряхтел и посмотрел на тебя.

— Что ты хочешь этим сказать? — набросилась ты, как всегда, неожиданно. Мой профессор отметил бы, что и у тебя повышенная лабильность.

— Я в восторге.

— У... какая ты ехидна. Между прочим, тебе полезно на это посмотреть. Это был мой мир. Ещё два года назад. Я балдела от всего этого. Приходила с подругой и балдела.

— А уходила с кем?

— Тоже с подругой. Да... можешь не улыбаться так противно. Перестань так улыбаться... И вообще можешь не слушать. Я буду с Марком. Марк, принесите мне коктейль.

Дорогая, я улыбался от растерянности. От растерянности и печали. В тот вечер в проклятой той «шайбе» мне было тяжело. Не так уж я отстал от жизни — в филармонию тоже ходит молодежь, но там у нее другие глаза, совсем другие. Да и твои глаза... Если разобраться, только из-за них я тебя и полюбил.

...На следующий день ты так умотала нас с Мариком, что мы были рады оказаться под вечер одни, без тебя, в моей квартире; я выложил перед бывшим другом по его просьбе альбом с семейными фотокарточками, там были и он, и мы с ним, и, пока я музицировал в соседней комнате, он смотрел их, смотрел, смотрел, будто хотел найти ту самую, на которой когда-то обозначились наши будущие судьбы.

Мне кажется, что мы с тобой расстаемся. Я знал, что так будет, я видел сон, где ты проходишь мимо меня рядом со своим молодым другом, не заметив, что я стою и смотрю на вас, вы проходите и медленно поднимаетесь по ступенькам, высокие, красивые, но у вас обреченные лица, и только я знаю, что дальше произойдет. Но, видимо, я должен тебя отпустить — что бы я сейчас ни сказал, ты мне не поверишь.

Я знаю, что я тебя выдумал, точнее, не выдумал, а увидел той, какая нужна мне и какой ты должна была, могла бы стать. Все твои выходки — от неуверенности и от недоверия к жизни. Ты пока только защищаешься, и твою идущую откуда-то обиду можно преодолеть только служением большому делу или любовью.

Я знаю, что однажды ты захочешь вернуться — ты больше не сможешь жить без того, что дорого мне. Только музыке, одной только ей ведома тайна человеческого сердца.

Ирина родила мальчика, который умер через несколько дней от врожденного порока сердца, — она хоть видела нашего ребенка, а я не увидел ни живым, ни мертвым, и сам я был ни жив ни мертв, и когда она вышла, у меня не нашлось слов утешения. Сказать то, что я думал, я не мог. А думал я, что мы наказаны и наказаны справедливо. А еще через год умер мой отец, и я переехал к матери, чтобы ей не быть одной. Ирина тоже было поселилась с нами, но ничего хорошего из этого не получилось, и, насмерть обиженная, она вернулась к себе. Но это тогда меня мало озаботило — каждый из нас замкнулся в своем горе и нес его в одиночку.

Примерно в это время я и взялся за Вторую симфонию Густава Малера. Помню, как поразили меня его слова: «Почему ты жил? Почему ты страдал? Неужели все это — только несусветная страшная шутка?» Я не знал, сделаю ли ее лучше, чем Шолти с Лондонским оркестром, но я тогда искал ответ на вопрос, как жить дальше, и казалось, Малер знает его. Это было, пожалуй, первый раз, когда я обратился к симфонии от сознания собственной слабости. И еще мне мерещились всякие совпадения — когда Малер написал Вторую симфонию, ему было тридцать четыре, а партитуру я открыл в этом же возрасте. Мне надо было понять, что со мной произошло, — понять, чтобы освободиться от несвойственного мне трагизма и вернуться к давно утраченному равновесию, пусть даже печального свойства. Жизнь разворачивалась не так, как у классиков, — она не завершалась в той точке, которую они считали логическим, закономерным финалом, а продолжалась дальше, когда, казалось бы, все сказано и завершено. Именно у Малера разрешенные коллизии вдруг снова вздыбливались знаком вопроса, и, значит, надо было снова прорываться вперед, чтобы уловить эту подвижную, переменчивую суть некончающейся жизни. Открытая форма его симфонии совпала тогда с моим собственным подсознательным ощущением времени как музыкальной темы без видимого начала и видимого конца. Душераздирающая искренность его исповедальной музыки могла бы свести с ума, если бы в пятой части он не находил слова любви и утешения, будто опускал легкую добрую ладонь на голову заблудшего пасынка, и начинался хорал, колыбельная песня, какой не нашлось у меня для Мишки, когда он лежал, уткнувшись лицом в диван, и не хотел жить. «Человек должен время от времени верить, — писал философ, — что ему известен ответ на вопрос, зачем он существует».

Я работал как бешеный, потому что не меньше Мишки нуждался тогда в вере. Я долго вживался в текст — несмотря на свой программный трагизм, симфония для меня внутренне распадалась. Малер ее сам добросовестно прокомментировал, но все это поначалу было для меня на уровне ума, а не чувства. Между частями не хватало креп, продиктованных логикой самого

музыкального развития. В одной только похоронной первой части, так называемой «тризне», я находил несколько концовок и не знал, что с ними делать. Но я верил ему, его какой-то обескураживающей честности и умилительной серьезности, словно через эти его качества можно было проникнуть в тайну его интонаций, и вдруг мне открылось, что так оно и есть: его герой — это мой двойник, пытающийся разрешить неразрешимости жизни одним-единственным поступком. Оказывается, их требовалось множество, целая череда, и надо было делать все новые и новые, почти непомерные усилия, чтобы удержать в себе чувство реального времени. Любимые мои деревяшки работали вовсю — страдали, вздыхали, жаловались, плакали... и флейте вторила молящая о пощаде скрипочка. А после танца второй части какая издевка звучала в третьей, с ее историей о святом, вздумавшем проповедовать рыбам идеи человеколюбия. Только я был не проповедником, а одной из тех кровожадных рыбок... Четвертую часть начинало меццо-сопрано, как бы Иренин темный голос; в пятой к нему присоединился светлый сопрановый голос Нади, пока на пианиссимо не вступал хор, который уже тогда знал, как знаю я теперь, что будет потом и чем все кончится — я видел какое-то новое истовое выражение на лицах всех, кто был передо мной, и если раньше они мне просто верили, то теперь пошли за мной, и если бы я остановился на полпути, они распяли бы меня, разорвали бы в клочья, — на мгновение холод прошел у меня между лопатками, но я должен был довести их, чего бы это мне ни стоило, и мы все вместе шли и шли вперед, и я любил их за то, что они слушались меня, и ненавидел за то, что они не дадут мне остановиться, пока я не совершу обещанного, и неотвратимость этого была как судьба, в которой ничего не поправить, и я шел вперед, взмахивая дирижерской палочкой, и чувствовал, что она мне больше не нужна.

*1984 — 1985 гг.*